

74.2618

11-45

Воспитание
и обучение
Библиотека
учителя

Е.Н. ИЛЬИН
**РОЖДЕНИЕ
УРОКА**

МОСКВА

«ПЕДАГОГИКА»

1986

Воспитание
и обучение
Библиотека
учителя

МОСКВА
«ПЕДАГОГИКА»
1986

ИТЕЛЕМ

М РУКОВОДИТЕЛЕМ

Ш.А. АМОНАШВИЛИ В ШКОЛУ - С ШЕСТИ ЛЕТ



Е. Н. ИЛЬИН
РОЖДЕНИЕ УРОКА

5014573

НБ ПНУС

501457

74.261-8

ББК 24.212

И 45

Рецензенты:

доктор педагогических наук Т. А. КУРДИУМОВА,
директор московской школы № 1139 И. А. АЛЕКСАНДРОВА,
учитель литературы А. Г. КУТУЗОВ

Ильин Е. Н.

И 45 Рождение урока. — М.: Педагогика, 1986. — 176 с. —
(Воспитание и обучение. Б-ка учителя).

35 коп.

В книге на основе обобщения многолетнего педагогического опыта автора раскрывается организация подготовки урока литературы, направленного на формирование личности школьника.

Анализируя все этапы и технологию создания урока — от замысла до воплощения, автор рассматривает проблемы профессионального мастерства словесника, источники и пути обогащения духовного мира учащихся и учителя.

Для учителей.

И 4306000000—045
005(01)—86 51—86

ББК 74.212

БИБЛИОТЕКА

Ивано-Франковского
педагогического института

ИНВ. № 501457

Издательство «Педагогика», 1986 г.

ВОЙДИ НЕТОРОПЛИВО, СУДИ СТРОГО (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Однажды я спросил коллегу-словесника: каким видится ему молодой человек начала XXI века, что пока — за партой? И мой собеседник перечислил все прекрасные качества этого идеального представителя будущего. Разговор вроде бы был исчерпан. Но я решил немного уточнить вопрос. Пусть это будут не вообще ребята, ученики, школьники, а, скажем, наши дети! В прямом смысле наши — собственные, кровные. Допустим, два сына и дочь. Что тревожит в них сегодня и какими хотелось бы увидеть их через два десятилетия? Коллега приумолк. Задумался. Начиналась истинная педагогика — когда о своих детях волнуешься. Когда, всматриваясь в их лица, мучительно ищешь ответ на совсем непростые вопросы. Как изжить пассивность многих ребят на уроке? Свой урок сделать их уроком? Учительское надо ученическим хочу? Повлиять на ученика усилиями его самого? Воспитать с таким уровнем совести, чтобы не по касательной к обществу и к самому себе жил? Как связать теоретико-литературные знания с нравственным взрослением? Что наперед, а что потом или даже вовсе никогда? Долго спорили и решили: авторитет знания в мире ребят утверждать надо авторитетными для них средствами. Вот о таких «средствах», а точнее, об уроках, которые давал не «ученикам» и «школьникам», а впрямь будто своим детям, и пойдет речь в этой книге.

Конечно же, знать литературу — это усвоить все виды знаний, составляющие ее. Но... и еще раз «но». Опыт говорит: литературное, а тем более теоретико-литературное знание в чистом виде (даже при умелой, виртуозной подаче) далеко не всех школьников волнует и увлекает. Нужны увязки этих знаний со всей полнотой и сложностью жизни, дабы сделать урок не только образовательным, но и человекоформирующим. Сопряжению учебного и нравственного, литературы и человека, постигающего ее, уделено основное внимание в этой книге, ибо проблему воспитательной эффективности урока и учительского труда вообще считаю наиболее сложной и важной для современной школы и надеюсь, что мой опыт поможет и другим определить свою позицию.

Об индивидуальных особенностях учительского опыта, о поиске своего творческого «я» тоже пойдет речь. Основа основ работы учителя — тщательная подготовка

к уроку, четко расписанный конспект урока, его план. Без этого невозможно подлинное рождение урока. Именно этим руководствуюсь и я.

Подробное освещение этих вопросов, методика целостного анализа художественного произведения даны в моей книге «Роман М. А. Шолохова „Поднятая целина”» (М.: Просвещение, 1985).

Учитель — это урок. Его личность и работа особенно ощутимы в примере. Более тридцати «открытых» уроков разных типов (автобиографические, персональные, соавторские, сюжетные, игровые, педагогические и т. д.) представлены в книге. Об одних рассказано фрагментарно, другие даны почти целиком. Некоторые, возможно, покажутся необычными, даже странными, многие утверждения вызовут возражения. Однако я выношу их на суд читателя, ибо считаю: в нашем деле нужна полемика как стимул движения педагогической мысли, дабы подняться на новую высоту и увидеть еще не взятые рубежи.

И еще. Если первая моя книга (Урок продолжается... М.: Просвещение, 1973) раскрывала связь урока с заданием, вторая (Искусство общения. М.: Педагогика, 1982) — с учеником, то «Рождение урока» покажет эту непростую связь с личностью самого учителя, ибо внеличносно литература — и как искусство, и как учебный предмет — существовать не может.

Начну старинным обращением, которое любила Ольга Берггольц: «Дай руку, дорогой Читатель, и пойдем...» Я открываю тебе дверь в свою мастерскую, рассказываю о том, что дорого нам обоим. Войди неторопливо. Суди строго, но будь и снисходителен, если чего-то нет. Подумай: может, и быть не должно? Может, иную книгу, о другом опыте надо прочитать? А может, и вовсе написать свою?..

«ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ...»

Всякую тему так или иначе преломляю через главную. Она дает стержень, вокруг которого, точно по спирали, выстраиваются уроки многих лет.

Комментируя пушкинских «Цыган», увлекая проблемами романтизма, духовными исканиями героя, не упущу случая поразмышлять и над этим:

Примись за промысел лобой:
Железо куй иль песни пой
И села обходи с медведем.

Без «промысла» — нельзя, даже если ты богат и независим, как Алеко. А сколь мудро пушкинское «или». Зазорного труда нет. Не можешь руками — промышленяй песнями. И однако не с «песен», а с «железа» начинается свои мудрые наставления старый цыган, потому что с труда начинается жизнь.

О чем бы ни рассказывал: о «чудном мгновенье» Пушкина или «любит не любит» Маяковского, о «красных руках» Базарова или о жизни и борьбе Павла Корчагина, о «мечтах» юной Ани Раневской или о «фактическом ударнике» Кондрате Майданникове, — неизменно доказываю: «Человек побеждает обстоятельства, когда он умеет трудиться». «В труде и трудом велик человек!» — вот моя главная тема.

Трудолюбие! Сколько нравственной работы предстоит, чтобы соединительное «о», что связывает два великих слова труд и любовь, читалось бы не иначе как **ответственность**: за себя и людей, за нерасторжимое единство труженика и человека в каждом из нас, за нашу способность по-современному истолковывать смысл и значение слов «рабочее место». Ведь это не только станок, прилавок, строительная площадка, но и вся окружающая нас жизнь, которую трудом своих рук и души ты обязан сделать еще лучше. Исподволь выводил на сложную каратаевскую («Война и мир») связь души и рук, нравственного и трудового. Без этой «связи» труд обесмысливается. И тому немало примеров.

В учебной мастерской семиклассник старательно вытачивает черенок для метлы или лопаты. Но вот прозвонил звонок, и юный «отличник производства» (за черенок ему поставили пятерку) корежит парту, в злом озорстве ломает стул, отбивает штукатурку. А там, смотришь, очередь доходит и до черенка, который сделан собственоручно.

Нередко наблюдаю за работой шоферов на стройке. Радует тот азарт, с которым они борются с простоями, задержками и т. д. Каждый заинтересован в количестве ездки. И тут не только личный интерес: выполняют государственный план! Но, честное слово, жалко мне порой тех самосвалов, на которых работают. Кажется, вот-вот рассыпятся они от непомерной натуги, рывков, безоглядной, в высшей степени небрежной гонки за количеством ездки. Поднимаются этажи высотного дома, и так же стремительно ветшают и приходят в упадок машины. В сущности, та же история со школьником-семиклассни-

ком: одна рука созидает, другая рушит, ибо обе не свяках? Все это побудило меня ставить и решать на всех (!) заны нравственным началом. Растет план, продукция уроках литературы тему труда как нравственную. «Ду-заработок, но не сам человек. Трудовая активность наша обязана трудиться...» Сколько в каждом из нас та-станет нравственной, если руки не обретут сознание, дукного внутреннего труда, столько и души, т. е. человече-шу, ответственности.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

Гений Пушкина не случайно сближает по смыслу, когда «лист к окошку прилипает, золотой, золотой...». слова «долго» и «добрые». Доброта, чем бы ни утвердим уроком, что рожден долгими раздумьями о наших далась она — лирой, уроком, скальпелем хирурга, отиравленных «показателях», начинаю учебный год. бойным молотком шахтера, бессмертна, ибо в ней — сама духовная сущность человека, то нравственное, бе**ЧТО ОСТАВЛЯТЬ ЗА ПОРОГОМ?** чего нет и не может быть ни культуры чувств, ни куль туры труда, ни культуры вообще.

«Душа обязана трудиться...» — повторяем мы нрем, вряд ли он мог бы стать пахарем, да еще отличным. разные лады слова Н. Заболоцкого. Поучимся же этому! По ребята отказывались увидеть в этом какую-либо труду на уроке, который всему дает душу! Литература язык. Удивились, когда спросил: «А между слесарем и... как никакой другой предмет, обладает ко многому обучаителем литературы есть общее?» — «Как можно срав-зываются привилегией отвечать за человека в целомивать?» — чуть не морщась, проронил один из люби-«собирая» ученика, как бы «рассыпанного» по предметней изящной словесности. Интонация задела, и я ре-учебной специализацией. Именно здесь идет непрерывный «сравнить». Но не отвлеченно и умозрительно я да-ная просветительская работа, постижение единства труме не в связи с Давыдовым и вообще не отдельным дового и нравственного, сущности и душевной красотыфрагментом, а целым уроком.

человека-труженика. Иначе вместе с образованностью ...В 1945 году, чтобы иметь рабочую (продовольствен-профессионализмом не будет ли прогрессировать и некину) карточку, я определился учеником слесаря-ремонт-процесс «расчеловечивания»? По-разному проявляет сника на один из ленинградских заводов. Моим бригади-бья современный хам. Уступит место, когда напомняром был опытный мастер Иван Сидорович (фамилию, к займет очередь, если не пустят; ускорит телефонный разожалению, не помню). Он донашивал свою фронтовую говор, когда несколько раз нетерпеливо постучат монетимастерку, был горяч и зол в работе, будто не станки, кой по стеклу; не по газону, по асфальту пройдет, усьва танки ремонтировал. Таких, как я, шестнадцатилетних, ша чей-то окрик, и т. д. Но это «вежливое», уступчивое бригаде было еще двое. Не из любви к металлу пошли так сказать, хамство. А есть еще и непримиримое, воины на завод: матерей пожалели, которые делились с на-ствующее, утверждающее себя как норму жизни. Испови своим скудным пайком. Поначалу работали без ин-дузкий его внешне отнюдь не похож на пьяного, ратереса и в основном ждали обеда. Многие за нас делал вязного купчика, какого видим в пьесах Островскогобригадир, но мастеру не жаловался.

Чаще — это тихий, скромный, с виду даже интеллигент. Однажды с Сидорычем мы разбирали коробку ско-ный «черноходец», умеющий для себя и знакомых достостей огромного расточного станка. Моя обязанность тать все, что нужно, и даже все, что угодно. Этот жостояла в том, чтобы светить лампой-переноской, давать «тип» вдруг заявит о себе по-другому: «Лучше маленьвет на то место, где работают руки бригадира. Я неволь-кий рубль, чем большое спасибо!» Иные школьники по загляделся, как легко и ловко выбивали они шпонки, свою будущую профессию выбирают по принципу доходзносившиеся втулки, снимали шестерни... Захотелось ного места, престижной работы, выгодного человека; самому забраться в станок и помочь: что-то у Сидорыча Не есть ли подобная приспособленческая философия рас ладилось. Вдруг, как ужаленный, он отпрянул назад, зультат душевной и духовной недогрузки на наших уроаругался... Раскаленной переноской я нечаянно коснул-

ся его лба. К вечеру, однако, помирились. Я объяснил дескать, засмотрелся, как здорово он работает. В тот день возле расточного станка, может, мне и открылся секрет «обжигающего внимания»: делать свое дело так, чтобы кому-то из равнодушных вдруг захотелось помочь...

Что такое художественная книга? Тот же «механизм», состоящий из множества «деталей», таинственно и сложно взаимодействующих. Вроде как коробка скоростей, где все работает от одного привода. Разве не любопытно, подобно моему бригадиру, забраться в эту коробку и по частям неторопливо разбирать ее и чтобы кто-то умно осторожно посветил? Детальный разбор текста претит. Но анализ отдельных узловых деталей увлекает и радует. «Природа наиболее удивительна в малом», — сказал знаменитый шведский натуралист К. Линней. Глубиной «малого» интересен окружающий нас мир и — книга. Жаль, не все понимают это. Коллеги говорят, что я умело нахожу в тексте яркие, ключевые детали и через них заставляю работать весь механизм книги, урока. И вообще внимателен к мелочам — колесикам и винтикам художественной мысли. Откуда, спрашивают, этот структурный подход к тексту, ощущение целого по отдельной части? Теперь могу определенно сказать: от слесаря. Притом ремонтника. Отсюда и многие педагогические приемы. Запыленный, замасленный, амортизированный агрегат разобрать не просто. Часами иной раз выбиваешь какую-нибудь крохотную шпонку, чтобы снять маховик, или с таким же трудом вытаскиваешь из проржавевшей, деформированной гайки словно навеки застрявший в ней шплинт. Синяками и ссадинами покроются руки прежде чем доберешься до болта, который «держит». Бесхитростному, а на самом деле уникальному искусству разбирать старые механизмы я учился у своего бригадира. Приемы, которыми он пользовался, нередко восхищали его самого. Молоток, длинное притупленное зубило и несколько разнокалиберных «вышибал» — вот почти весь его инструмент. Обычный слесарный молоток выполнял тысячу операций. Столь же универсальным было и зубило. «Одной отверткой что угодно разобрать можно», — сказал он как-то в запальчивости. Другие опытные слесаря только посмеивались. А мы верили Сидорычу — разберет! Живым, мягким и вседоступным становился в его коротких, цепких пальцах неподатливый для многих металл. Но даже в ту пору, когда благодаря бригадиру

к нам пришло чувство слесаря и увлекла романтика механизмов, не всё одинаково нравилось в работе. Подолгу спорили, кому, к примеру, шабрить станину, а кто будет в керосине промывать детали. Все трое выбирали керосин. Шабрить смертельно не хотелось. Нудное, тоскливое занятие — подгонять плоскости. Скоблить не видимые глазом, но обнаруженные синькой многочисленные бугорки. Через каждые пять минут устраивали перекур, и дело, в общем, двигалось медленно. По-разному убеждал нас Сидорыч, сколь важно научиться притирать плоскости. «Бугры — всему помеха», — изрекал философски. И рассуждал на житейские темы: «Хорошо прилаженные люди, как отшабренные станины, а те, что в буграх, лишь царапают друг друга». И мы шабрили, уже как бы не станину, а самих себя. Притирая себя к себе, а точнее — примиряя себя с собой. Через скучную, сугубо слесарную операцию, которую в иных бригадах выполняли женщины, ко мне приходила жизненная мудрость, а с ней, быть может, и другая профессия: вот так же приближать и людей друг к другу, как две станины. Не работай я тогда с синькой и шабером, может, и по сей день не было бы у меня терпеливого желания и умения «притирать» слово к слову, человека к человеку. Навсегда сохранила память удивительные и по-своему эстетические процессы таинственной шабровки. Вроде бы безупречно гладкая, ярко сверкающая станина в соприкосновении с контрольной плитой покрывалась вдруг множеством вопиющих неровностей и становилась крупнощербатой, как лицо переболевшего оспой. Раз от разу синих щербатин все больше, но они уже мельче. Это первая победа. Еще несколько «заходов», и мельчайшие брызги синего дождя покрывают поверхность детали. Каждая крапинка теперь не помеха, а точка соприкосновения, невидимое плечо самой надежной опоры. Какую-то крапинку, впрочем, хотелось сделать еще мельче, но Сидорыч останавливал. На очереди другая работа: срочно вырубить какие-то прокладки, скобы. Бригадир недоволен, если держишь молоток за середину рукоятки, бьешь часто и несильно да еще посматриваешь на шляпку зубила. «Такие удары портят риску и не дают кромки», — говорил он. Собрав вокруг себя «слесарьков» (так бригадир называл нас), он показывал технику удара на «рубль двадцать». Брал молоток за конец рукоятки и, глядя на нижний, как бритва, заточенный конец зубила, со всего размаху бил по шляпке раз, другой...

Аккуратно и ровно резало зубило зажатый в тисках металл. Несколько быстрых обтачивающих движений напильником, и — готово! Вот она прокладка, любуйся. После этого мы всерьез стали оценивать каждый свой удар. Если по расценкам Сидорыча всю рукоятку принять за рубль двадцать, то дальше «рубля» я, кажется, так и не пошел: пощадил избитые пальцы. Зато по собственным рукам знаю силу точного или неверного удара. Даже сейчас, когда давно уже стою за учительским верстаком, вдруг промахнусь, болит не только душа. Как и прежде, ощущаю свежую ссадину на руках. Может, тот давний страх за свои руки научил меня добрее относиться к душе: не допускать промахов, когда наполняешь урок ударными акцентами. Пробыться к душе иного ученика — это вроде как работать с металлом: нужен хлесткий и точный удар, чтобы ни риску, ни кромку не испортить. И смотреть в ту минуту нужно на ученика, а не думать, съездившись, о себе.

«Сидорыч! А что такое счастье?» — спросили однажды. Вытирая ветошью мокрый лоб, он как бы себе самому ответил: «Счастье — это когда на работу и с работы идешь с удовольствием». Я и поныне не знаю более простой и емкой формулы. На работу и с работы — с удовольствием! Чего же еще? Впрочем, Сидорыч никогда не уходил, не закончив дела. Нас отпускал, сам — не уходил. Не из пьес, повестей, романов, от своего бригадира узнавали мы о стимулах бескорыстия, что сильнее любых «факторов» материальной заинтересованности.

«Делай свое дело как можно лучше!» — объяснил внутреннюю интеллигентность писатель-публицист С. Соловейчик. У Сидорыча была эта внутренняя интеллигентность. Халтуры не выносил, как зубной боли. Работа для него — «душой исполненный» наряд. Слесарь и зывающий к нему о помощи уставший станок были неотделимы, куда обоим не полегчает. У Сидорыча учились мы работать нашим главным инструментом — душой.

Так с ремонта — капитального, текущего, а то и срочного — в те далекие незабываемые месяцы дневных и вечерних смен в монотонном гуле трансмиссий и вспышках электросварок обретал я сущность моей сегодняшней профессии: учителя-ремонтника. Да-да, есть и такой профиль, если работаешь со старшеклассниками, образно говоря, с готовой продукцией, и многое в них иногда приходится исправлять, ремонтировать. Вот и пригодилась в школе навыки моей рабочей профессии...

Нет таких учеников, что не слышат звонка с урока. Слышали и в этот раз. Но никто не пошевелился. Не о конце, а всего лишь о начале работы — духовной, нравственной — оповещал звонок. Ребятам хотелось еще и еще узнать обо мне, Сидорыче. Но наш спор был решен. Между слесарем и пахарем, слесарем и учителем, учителем и пахарем, оказывается, самая тесная связь.

— А у вас есть своя формула счастья? — спросили меня.

— Конечно. Счастье — самовыражение в деле, способно выстроить тебя как личность.

Ребята задумались.

— А у Сидорыча лучше! — сказал кто-то.

— Еще бы! — ответил я с удовлетворением.

Слышу возмущенные голоса: «Если собрать содержание урока об этом, как его... Сидорыче, то, простите, где знания? Не есть ли это урок «вместо литературы»? Кому нужна подобная информация?» Отвечаю. Разве мой Сидорыч не помогал Давыдову и оба — уроку литературы, школе? Что такое профориентация, если разобраться всерьез? Сформированное в человеке творческое начало, которое выразит себя в любом деле, даже если к нему на первый взгляд не лежит душа. Не о таком ли универсальном «начале» шел разговор? Воспитательных мер в отрыве от обучения не признавал и не признаю все, что по отдельности, — плохо; великое это дело — синтез. Добывать знания о людях и жизни только из книг, игнорируя живых людей и реальную жизнь, нам, словесникам, считаю, негоже. Однако уроки литературы, снова возразят мне, должны проходить не вокруг и не по поводу произведения, а на его основе — всегда! Ну, конечно же, на основе. Но «вокруг» и «по поводу» нередко один из путей, подводных и к сути литературного произведения, и к душе ученика, о которой нам никак нельзя забывать. За «иными» основами легко проглядеть основы жизни. Не видеть и не учитывать эти главные основы, скрытые иногда как подводная часть айсберга, — значит, обречь на крушение чью-то судьбу, да и свою, учительскую, тоже. Можно идти к жизни от книги, а иногда к книге от жизни. В этом «иногда», а не в категорическом «всегда» мудрость наших уроков. Что часто удивляет в работе словесников? Иной лет двадцать — тридцать увлекательно рассказывает «о подвигах, о доблести, о славе» и хоть бы раз — о себе самом, наверное тоже не без труда овладевшим высотами профессии. Странной ка-

жется мне эта стыдливая боязнь себя. «Когда я вхожу в класс, то все свое оставляю за порогом!» — с гордостью заявила одна моя коллега. Нет, свое надо брать с собой, иначе ты и сам останешься за порогом. Литература, повторю, предмет личностный. То литературный герой доскажет тебя и ребят, то ты и ребята, или только ты, или только ребята доскажут героя, дав ему новую жизнь. Шолоховский Давыдов «просматривался» теперь и в Сидорыче, и во мне, и в ком-то из учеников. По жанру этот урок как лиро-эпическая поэма: основной рассказ перемежается отступлениями (иногда — в целую главу!), внешне, казалось бы, не очень связанными с темой, а на самом деле в отступлениях еще заметнее, еще внушительнее выступает главное. Литературное и жизненное, таким образом, не противостоят друг другу и не иллюстрируют друг друга, а синтезируясь, рожают публицистику урока, без которой, думаю, школа не решит полностью возложенных на нее идейно-нравственных, эстетических и гражданских задач. Кусочки собственной биографии, вмонтированные в урок, или даже весь урок о себе не причуда эксцентричных одиночек, а творческий прием: воспитывать и своей судьбой. Учитель — такой же полноценный герой урока, как и Базаров, Андрей Болконский, Семен Давыдов... Иногда даже ближе ученикам, а потому интереснее. Но знать меру «своего» и «учебного», чтобы урок достиг цели, — искусство, которое даже к умелым и опытным приходит не сразу. На уроке, что рожден «отступлением», помимо воспитательной была, конечно, и учебная задача. Не только о себе, Сидорыче, но и о Давыдове и даже о Маяковском (фрагмент повторения) шел разговор. Но цементировала его мысль об отношении к труду как главной духовной потребности человека.)

Однажды Маяковского спросили: если бы он не стал хорошим поэтом, кем бы еще был? Он ответил: «Я был бы всем хорошим». И это не гипербола. Способности к труду, стремление выполнить любую работу не просто хорошо, а мастерски проявлялись во всем: в стихах, рисунках, актерских ролях, в том, как проводил творческие вечера, дискуссии, читал газеты, играл в бильярд, брился... Всюду было качество, выраженное предельным (как у Сидорыча) вниманием к безупречному результату, всюду был труд как заинтересованное, радостное и добросовестное одоление трудностей, было нравственное отношение к делу — без расчета, корысти, «философии

нудовой». Точно так же напряженно, с полной самоотдачей работают и его персонажи: лошадь, солнце, пароходы, «транспорты и транспортчики» и т. д. «Я мастеровой, братцы», — с гордостью за себя, труженика, говорил поэт.

Я рассказываю об этом на уроке, акцентируя духовную высоту книги М. Шолохова и ее персонажей насущным «переключением» к земному, реальному, к чьей-то конкретной (в данном случае — собственной) судьбе. Помочь ребятам правильно увидеть своего учителя, — значит, помочь им идти за ним, а не прятаться от него, когда он входит в класс. Нет, за порогом оставлять надо совсем другое: эстетство, снобизм, иллюзию всезнайства.

Искусство Слова, воплотившее стремление человека к истине, добру и красоте, должно быть инструментом воспитания чувств, созидания души, познания себя и жизни.

«ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ...»

Какую роль в профессии учителя литературы играют автобусы, трамваи, — словом, общественный транспорт? Утренний автобус, к примеру, своеобразный «срез» нравов: все торопятся, каждому подавай «место». Выходят и заходят в дверь, какая ближе. Кого-то задел нечаянно — посмотрят так, что иной раз весь день этот взгляд как удар чувствуешь. Прокомпостировать талон или опустить пятак часто не просят, а по-свойски, будто кучера, молча хлопают по плечу: передай, мол. Повыше ростом — торжествуют: при качке или поворотах есть на кого опереться. А тут еще в моду вошла «утряска». Иной шофер-озорник, едва тронувшись в места, вдруг резко затормозит. Автобус-то, оказывается, еще не битком набит. А вот уже один другому советует ездить на такси... «Автобус не резиновый!» — равнодушно рывкает чья-то широкая спина на деликатную просьбу чуть потесниться. Потеснить — можно, а вот потесниться... Неожиданно шофер возьмет и вовсе остановит автобус — пока двери не закроются. Лишний должен уйти. Но «лишних» нет: не куда-нибудь, на работу едут, общественное богатство умножать. А вот перекошенная дверь вроде как уже и не богатство.

Автобус для меня всегда был «нулевым» уроком. Во-первых, не раз приходилось кому-то что-то доказы-

вать, подчас монологами; а во-вторых, он всегда чем-то напоминал переполненный класс, где нет опаздывающих, но есть отстающие, кому нужна моя срочная помощь; наконец, от дома до школы я ехал обычно 45 минут. Словом, с любой стороны — урок. Иногда он мешал мне пробиться к основному, запланированному, а чаще — резко менял планы. Не раскрывая портфеля, приходилось заново «переписывать» конспекты, уточнять тему, придумывать вопросы. Бывали, конечно, и такие дни, когда ехал в полупустом автобусе. Но и тут на пути к основной проблеме непредвиденно возникала дополнительная, если смотреть не в окно, а, скажем, на разрисованную чьими-то инициалами спинку переднего сиденья. Снова раздумья, и опять монологи, на сей раз внутренние.

...Вензеля, вензеля! Где их только не увидишь! На стенках нового, еще не заселенного дома, в кабине лифта, прокуренном тамбуре электрички... Иногда на руках уже вполне солидного мужчины, вместе с женой и двумя детьми вышедшего на воскресную прогулку. «Маша» — татуировка на одной руке, «Таня» — чуть бледнее на другой, а идет — с Тamarой. Когда-нибудь, думаю, придется объяснить детям, почему так получилось. На руках сегодня, пожалуй, немногие пишут о своих чувствах, а вот руками... Школьные столы и парты — своеобразная летопись, полная таинственного значения. Не во всяком вензеле даже Ираклий Андроников разберется. Тут есть свои непостижимые интригующие Н.Ф.И. В бытность свою классным руководителем, прежде чем назначить ребят для уборки класса, не спеша изучал оставленные на столах, стульях, даже подоконниках незамысловатые иероглифы. Тут и плюсы, соединяющие знакомые всему классу имена двоих, и рассыпанные многоточия после непомерно больших (парта позволяет) букв, иногда в замысловато-художественной вязи (не за один урок) всеми цветами пасты выведено одинокое имя все с тем же плюсом, но без второго слагаемого. Сердечные тайны, раскрытые так рекламно-примитивно, а по сути оскорбительно и варварски... И эти «художества», и те, что наблюдал в утреннем автобусе, — проявление душевной недостаточности, низкой культуры чувств. Может ли учитель оставить подобные явления за рамками урока?

По плану в тот день была третья глава «Онегина». Знал ли я тогда, что весь урок буду комментировать всего лишь одну строфу, да и ту не полностью? Конечно

же нет. Иначе самого себя осудил бы с таким же жаром, с каким, возможно, осудит меня сейчас читатель. Но кто знает заранее, сколько «текста» нужно уроку?

...Татьяна пред окном стояла,
На стекла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да Е.

— «Прелестным пальчиком... на отуманенном стекле...» Вот-вот появится Онегин. И радостно и страшно. Как отнесется он к ее письму? Или никак и даже вовсе не приедет? Он — «нелюдим». Но «никому на свете», кроме Онегина, не отдаст она свое сердце. И это так. Даже став женой генерала, «верной супругой», сердцем она будет по-прежнему с ним. Но это потом. А пока она у окна... В долгие, томительные минуты вновь и вновь, наверное, повторяет мысленно строчки письма, которое вряд ли перечитала. Помните: «Кончаю! страшно перечесть...»? На холодном, отуманенном стекле рука сама выводит заветное. Нам и радостно и досадно. Радостно, потому что Онегина любит душа чуткая, красивая. Досадно, ибо знаем, чем ответит он «младой деве», не разгадав в ней свою судьбу. На дворе уже осень. Оттого и стекла «хладные», запотевшие от горячего дыхания. А какая изумительная звукопись у Пушкина: *дыша — задумавшись — душа!* Передано душевное волнение Татьяны, выражение глаз, каждое движение «прелестного пальчика» по замысловатым изгибам «О да Е». Вензель, кстати, не просто буквы. Это — тайнопись, загадочная вязь (отсюда и вензель). Не всякий и не вдруг разберется в нем, даже если окажется близко. А на летучем тумане стекла и вовсе немного увидит. Только Татьяна поймет изящное кружево линий, передающих ее любовь. «Душа в ней ныла, и слез был полон томный взор». А тем временем Ольга разливает чай, веселая и беспечная. Ведь ей все известно: она любима! Зададим себе философский вопрос: кто же все-таки более счастлив в эту минуту — безмятежно разливающая чай Ольга или вот-вот готовая заплакать Татьяна?..

У кого-то из ребят, видно по недосмотру корректора или наборщика, в тексте неоставало одной запятой, и строчка читалась: «Задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала...» Ученик, понимая, что это ошибка, карандашом аккуратно поставил запятую. Но техниче-

кий промах стал находкой. «Душа прелестным пальчиком писала» — хотелось именно так прочитать. Не было здесь той пошлости, какую встретим в альбомах уездных барышень (гл. 4):

Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки...

— Два инициала, выведенных душой, стоят всех сердец, факелов, цветков и прочих примет игровой влюбленности. А сколько жизни, мечты, надежды, минувшего и предстоящего вбирает в себя скользкая по стеклу витиеватая линия!.. Никогда, никогда теперь не вырваться Татьяне из того «кольца», которым она мысленно окружает себя, выводя таинственное «О». «Весны огнем оживлена», светло и драматично вписывается пушкинская героиня в картину наступающей осени. Обращенная спиной к уюту и благополучию родительского дома, к мирно кипящему самовару, Татьяна как бы живет в двух мирах: привычном, обыденном, и в другом, откуда Он — ее избранник. Но мы, кажется, забыли о теме. Как же назовем этот урок? Поищем подсказку у Пушкина.

«Заветный вензель О да Е», — бесхитростно предложил один. Чем-то не устраивало. «Плоды сердечной полноты...» Отвергли и это. «И все Онегин на уме...» Мелковато. «Послушная влечению чувства...» Чего-то и тут не хватает. «Безумный сердца разговор...» Хорошо, но поищем еще. «Уж небо осенью дышало...» Интересно. Есть простор для мысли. И вот наконец принимают все: «Души прекрасные порывы...» Склонившись над тетрадами, каждый старательно выводит бессмертную пушкинскую строку. Коль на уроке говорили о душе, то в домашнем задании обобщим знания об онегинской строфе. Это уже всецело работа ума, подготовленная разбуженным чувством. Даже начитанный, эрудированный ученик, наверное, не справился бы с таким, прямо скажем, нелегким заданием («Тайна онегинской строфы»), если бы не постоял «перед окном» вместе с Татьяной, если бы и сам вслед за ней не чертил «заветный вензель», открывая чистоту и высоту чувства «милого идеала» Пушкина.

Но урок продолжается. Припомнилась страничка из «Обломова» (ныне, к сожалению, это произведение исключено из школьной программы). Попросил ученика спуститься в библиотеку и принести роман. Минуты две-три ни о чем не говорили. Но то было не потерянное вре-

мя: класс ждал книгу! Как это важно, чтобы школьная библиотека работала не только на переменах и после уроков. Был несказанно рад, что наш заботливый библиотекарь, даже не доставая формуляра (медлить и секунды нельзя — урок!), тут же выдал книгу. Без труда я нашел нужную страницу.

— «Счастливым, сияющим» возвращается домой Обломов после свидания с Ольгой. Он влюблен! Нет — любит! Впервые! Как и Татьяна, до слез. Садится на угол дивана и пальцем на столе выводит крупными буквами: ОЛЬГА. «Ах, какая пыль!» — в смущении и растерянности произносит Обломов. Еще далеко до разрыва с Ольгой, но мы уже предчувствуем, что его любовь не выстоит, лень и стремление к покою окажутся сильнее.

Я снова попросил (уже другого ученика) вернуть (с благодарностью!) книгу в библиотеку. И опять минуту-две молчали, ожидая, когда он возвратится. Таким паузам придаю особое значение. Они подчеркивают невысказанное: восторг, вызов, сомнение, раздумье, ожидание...

Урок о связи наших «рук» и души, внутреннего и внешнего заканчиваю публицистическим обращением.

— Печально, когда образованность не становится культурой. Свидетельство тому и то, как некоторые пытаются «завековечить» себя, оставляя безобразные автографы на домах, телефонных будках, деревьях. «Хорошо выбивать из тела накопившейся песни гвоздь», — писал Сергей Есенин. Хорошо! Но не гвоздем же на сверкающей обшивке автобуса! Подлинная культура проявляется и в бережном отношении ко всему, созданному трудом человека и природы, и в том, как мы выражаем себя и свои чувства. Умейте же видеть и понимать «душу» всего, что вас окружает. Все хорошее и плохое, совершенное нами, отзывается в нашей душе, возвышая или обедняя ее. Даже если никто не видит, как весенний солнечный луч, преломившись в выпуклой линзе, искусно выжигает инициалы дорогого вам человека на только что выкрашенной парковой скамейке, знайте — уродливые отметины выжжены и в вашей душе. Берегите свои чувства, не оскорбляйте и не убивайте их грубостью, цинизмом, хамством, самодовольством и нетерпимостью. Ведь недаром сказал великий поэт как о самом важном: «...что чувства добрые я лирой пробуждал...»

ПИСЬМО К МАТЕРИ

Давно и всерьез волнует кризис эпистолярного жанра в наш телефонно-телеграфный век. А тут еще словно в поддержку непишущим крылатая строчка поэта: «Увидеться — это б здорово, а писем он не любил». Многие оттого и не любят, что даже простенькое, а тем более серьезное письмо — труд души, проявление нашего интереса, внимания к человеку, проверка культуры, грамотности, наконец. Если хотите, и умения в суতোлке дел выбрать время для душевного, неторопливого разговора. Написать такое письмо — это и в своей душе навести порядок.

Как-то я спросил у почтальона: часто ли приходится держать в руках разбухшие конверты? Оказывается, нет. В потоке все больше тоненькие, словно пустые, а «весомость» иных достигается плотной на ощупь поздравительной открыткой, где рисунка больше, чем слов. Иногда и слов не надо. Услужливая типография машинным оттиском на миллионе экземпляров напишет за нас: «Поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, счастья, успехов в труде!» Вряд ли такая весточка добавит здоровья и счастья. Настоящее письмо, как статья, рассказ, — с черновиками, которые тут же и уничтожаем. Но сколько радостной работы! Сесть и не спеша написать, а потом перечитать, что-то поправить, иное вычеркнуть и снова переписать — это и значит жить человеком, который тебе дорог. А как трудно найти верную интонацию, тон разговора именно с тем, кому пишешь.

Словом, кризис письма ощущал как нравственную потерю: «нищают души — тощат письма». Стал подумывать об уроке... Помог мне Достоевский с его нескончаемой тревогой за человека. Не сразу предложил я девятиклассникам тему «Письмо от матери» («Преступление и наказание»). Прежде спросил: помнит ли кто-нибудь почерк своей мамы? Помнили немногие. Затихли, когда сказал, что Раскольников по памяти знал «знакомый, милый, косенький» почерк матери. Как спасения ждал он этого письма... Если мама не остановит, то кто же? Потому и целует конверт, еще не вскрыв. «Косеньким» почерком, кстати, писал и сам Достоевский. Однако выясним, почему письмо такое длинное, чуть ли не глава.

— Давно не писала. Тут как бы несколько писем в одном.

— Сына убедить надо, чтобы принял Лужина, жениха Дуни. А это не просто. Сама-то мама (по всему видно), как и Дуня, не принимает.

Если «видно» да еще «по всему», надо доказать. Работаем над текстом, точно исследователи. И снова реплики.

— Не только убедить, но и предупредить. Характер своего первенца мама знает лучше, чем он сам. «Не суди слишком быстро и пылко, как это и свойственно тебе», — пишет она.

— Письмо не могло быть коротким. В нем Достоевский знакомит читателя с героями, которые скоро появятся в романе.

— Письмо отчасти и художественный прием, концентрирующий действие. Как салон А. П. Шерер в «Войне и мире».

Долго обсуждаем, почему письма наших матерей не могут, не должны быть короткими. Как и наши ответы им. «Длинное письмо укорачивает версты!» — сказал ученик. Его слова записали как афоризм.

«Почти все время, как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокро от слез».

Какие строчки оплаканы особенно?

Остановились на этой: «...может быть, очень скоро мы сойдемся вместе и опять обнимемся...»

Мать и сын действительно вскоре увидятся, а вот обняться — не смогут. Не оплакивает ли Раскольников в эту минуту и свою маму, смерть которой сам же и приблизил? О чем думает он, когда злая усмешка вдруг осушила слезы? И последнее. Письма иногда теряются, не доходят. Хотите, чтобы это письмо затерялось? Как нужно иногда получить от мамы такое предлинное письмо! Если не можешь ответить сразу, по крайней мере не спеши делать то, чего не хочет она, твоя мама. И ты хорошо знаешь чего, потому что в душе и сам того же не хочешь. Даже очень долго не видевшая нас мама поймет нашу душу как свою. Понимаем ли мы маму, как она нас? Попробуем написать письмо. Каждый — своей маме. О чем бы рассказали, чтобы успокоить, утешить?.. Вспомните стихотворение Сергея Есенина «Письмо матери». Может, и сочинение так назовем?

Задание, которое дал ребятам, методистов насторожит. Какое отношение оно имеет к роману Достоевского? Соответствует ли возрастным особенностям старшеклассников, которые не любят подобных откровений? Но

Есенин же не постеснялся публично (!) и на все времена объясниться в любви к матери. А тут всего лишь один читатель («Евгеша», как меня называют ученики), умеющий хранить тайну. Обрадовался, когда понял, что ребята смущало совсем другое: смогут ли по-есенински «всю душу выплеснуть в слова»? У Раскольниковца они были, хоть он и не ответил на письмо...

С любви к матери начинается человеческая душа. Маму Некрасова, Есенина, Олега Кошевого ребята знают и любят. А свою? Ту, что каждый день стирает, пришивает пуговицы, жарит котлеты? Вспоминаю трудное послевоенное детство. Сколько горьких обид невольно причинял матери! Не раз ее, уставшую после работы, вызывали в школу. Но вот что запомнилось. Стоило матери заплакать — навзрыд плакал и я, искренне любя и жалея ее, виня себя за причиненное ей страдание. А теперь?.. Мама плачет, а ее сын совершенно спокоен, почти безразличен. За такого «выдержанного» ученика жутко становится и стыдно за себя, учителя: не сумел и даже не пытался пробудить это великое чувство — опору и источник духовного в юном человеке. О матери ученика вспоминаем, когда тот провинится. На уроке же — все про маму Наташи Ростовской, Павла Власова... Да и то не «про маму», а ее сюжетную роль в концепции романа и духовной эволюции двух типичных представителей разных эпох. В таком случае: о каких детях думаем, когда идем на урок? Из моих учеников, уверен, никто не скажет: «Ну а Достоевский — за что он величайший?» Вот и за это — понимание сердца матери.

ЗВУЧАНИЕ ПАУЗЫ

Ох, уж эти ключи! На цепочках, колечках... То их где-нибудь оставишь и радостно найдешь, а бывает — и потеряешь. Помню ключи своего детства. Их было немного, кажется, один-два. Они не оттягивали карманы еще и по той причине, что их с собой не носили, а прятали в каком-нибудь укромном местечке. Нередко весь двор знал, где лежат ключи: мой, твой, его. А теперь вот — снова судорожно схватился за карман: слава богу, на месте. Большие и маленькие. От квартиры, кабинета литературы... Хорошо, что нет гаража, а то бы одним ключом (и еще одной заботой) стало бы больше. В общем, разозлила меня однажды ключи настолько, что расфилософствовался... А тут еще предусмотрительные домочадцы соорудили вторую дверь и врезали особый замок —

с секретом: двумя ключами сразу открывать надо, не вынимая третьего. Как старая экономка, хожу и звеню ключами. Надоело. Один раз на уроке незначай вырвали их, а ребята не отреагировали. Ключи-то, оказывается, способ проверить внимание! Подспудно уже в ту минуту знал: ключи будут фигурировать на уроке...

Между тем наступила весна. Привычно взял с полки папку: «новые люди» у Чехова (Петя Трофимов и Аня Раневская), еще раз нащупал в кармане ключи и, что называется, ринулся на урок. В автобусе бегло просмотрел до мелочей знакомый текст, и вдруг... Потом понял: никогда не бывает просто вдруг. То тихим, то громким звоном ключи подсказывали тему. Добрую половину пути я уже ехал... с новым замыслом урока.

«Ключи в нашей жизни» — так и записал тему. Ребята удивились: готовились к одному — и вот... К чему готовились, то и будет. Только... с ключами.

— «Вся Россия — наш сад!» — говорит юной Ане студент Трофимов. С укором. Всяк думает о своем «саде»: Раневская — о вишневом, Лопахин — о доходном. Но кто подумает о России? Как сделать ее, свою Родину, цветущим садом. Любоваться ее просторами, реками, небом... еще не значит любить. Глубоко ощутить в себе это чувство — значит ощутимо и выразить его: трудом, бескорыстным и честным. Своя «вишня», свой «крыжовник» не мешают ли? У кого имеются дачи, садовые участки? Больше половины подняли руки.

— Небось, каждый кустик, каждое деревце любовно обхаживаются? Наверное, и Чехова цитируете: зря, дескать, человек прожил жизнь, если не посадил хотя бы одно деревце. А теперь все вместе подойдем к окну, посмотрим на школьный участок и дальше — на соседний сквер, бульвар. Сравним мысленно со своим садом где-нибудь в Вырице или Рощине. Совестно, беспокойно станет. Разве всё это: и участок, и сквер, и бульвар — не наш сад? Неужто и сегодняшней Ане, как и чеховской, извзя на себя просветительскую миссию Пети Трофимова, надо что-то доказывать, разъяснять? Заметили, какую ремарку дает автор после его реплики: «Вся Россия — наш сад»? Да, идет знаменитая чеховская пауза. Она акцентирует и сказанное, и несказанное, подтекст. Пусть каждый сам для себя определит ее «размеры». Ощутит подводное течение пьесы, напряженность действия при отсутствии внешних эффектов, событий. Когда под стук лопахинского топора, вырубаящего вишни, медленно

опустится занавес, мы снова услышим звучание этой самой большой чеховской паузы, перекрывающей все остальные звуки, которыми наполнена лирическая по жанру комедия. И тогда понятнее станет и другая реплика Трофимова: «Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер». Ключи — еще один звуковой герой пьесы. Вспомните ремарки: «Входит Варя, на поясе у нее вязка ключей»; вот она «выбирает ключ и со звоном отпирает старинный шкаф»; наконец, «снимает с пояса ключи, бросает их на пол». Поднимает их, «ласково улыбаясь», Лопухин. И снова ремарка: «Звенит ключами». Слышит ли он в ту минуту, как настраивается оркестр? Ремарки, паузы у Чехова таят глубокий смысл. Однако почему не к Варе, у которой целая «вязка ключей» и в перспективе новые (Варя идет экономкой к Рагулиным), а именно к Ане обращен призыв Трофимова? Отчего непременно в колодец надо бросить ключи? Разве нельзя быть «свободным, как ветер» и с ними? О каких ключах вообще идет речь? Они ведь бывают разные. Семен Давыдов («Поднятая целина») чуть не погиб из-за ключей, которыми открывались сразу и колхозные амбары, и — сама эпоха. Почему Чехову так важно, чтобы Аня отказалась от ключей, еще будучи «хозяйкой», не в пример Варе, которая бросает их после продажи имения?

Рассуждаем, спорим. И вот он — желанный момент. Ключи нужны! Мы еще не так совершенны, чтобы не пользоваться ими. Однако сколько иметь и какие? К примеру, у меня тоже вязка ключей (неторопливо вынул их), но связывает ли она меня? Кстати, какой ключ мне особенно дорог?

Из рук в руки передают ребята мои ключи. Рассматривают, о чем-то шепчутся. Каждый по своим ключам знает, какой и от чего. «Этот!» — указывают на маленький ключ от почтового ящика. Давно не видел я такого острого интереса к «наглядному пособию». Отыскивая «мой» ключ, каждый подумал и о «своем». И тогда я снова открыл Чехова, вплотную подошел к кому-то из ребят (знал — к кому) и с интонацией Трофимова произнес: «Вся Россия — наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест». И, обращаясь к другому, уже шепотом добавил: «Пауза».

Еще раз всем классом помолчали.

Вот такой разговор навеяли мне однажды мои, в общем, безобидные (от квартиры, а не от «хозяйства»)

ключи. С тех пор, когда рассказываю о «новых людях» у Чехова, в портфель кладу пьесу, а в пиджак (чтоб не оставить в плаще) вязку ключей. Они мне так же нужны, как монолог Трофимова и три окна класса, выходящие в жизнь...

КОРНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Однажды утром, открыв почтовый ящик, вместе с газетами и письмами я вынул небольшой типографский листок. «Берегите хлеб!» — прочитал поверх красочно нарисованных булок, калачей, батончиков... Сунул листок в книгу и поспешил в школу.

Я собирался говорить о «Поднятой целине» М. Шолохова, но, с чего начну разговор, еще не знал. Воспользуюсь ли опытом прошлых лет или с каких-то иных позиций приоткрою себе и ребятам великий роман? Уже на уроке осенило: вложенный в книгу листок и есть начало! Та «первая» страница, которая поможет прочитать пятьсот шолоховских! С листка и начал.

— Хлеб — мерило всех ценностей, символ жизни, труда, благополучия и радости. Хлебом делятся в минуту бедствий, хлебом-солью встречают гостей. Знаем ли мы подлинную цену хлебу, умеем ли беречь его? Понимаем ли, что значит хлеб на нашем столе?

Десятиклассники как-то совсем по-особенному затихли, угадывая прямую и открытую связь обыкновенного типографского листка с мировым художественным шедевром. Ждали, о чем буду говорить дальше.

— За иногo «ценителя» хлеба просто стыдно, когда с ним встречаешься в магазине. Скрупулезно выбирает он в грудe свежих, пахучих булок свою, облюбованную. Насквозь прокалывая вилкой, перетычет почти всю груду хлеба и выберет не ту булку, что рядом, под рукой, к которой уже притронулся, а ту, что в глубине, до которой и не дотянуться. Недовольно помнет руками и, оглядевшись — нет ли кого рядом? — положит обратно. Словно израненные пулеметной очередью — навывлет! — лежат, черствея, буханки, батоны, слойки. А вот как относятся к хлебу герои «Поднятой целины».

«Хлебные крохи», оставшиеся после обеда, заботливый пахарь Антип Грач не смахивает со стола на землю, а отдает быкам — на подкормку. Лишним куском никто не богат! Весельчак и балагур дед Щукарь забыл, когда ел досыта.

Хлеб — один из главных героев «Поднятой целины». Его мы увидим и краюхой в дрожащих руках, и вкусным ломтем на столе возле миски сощами, и отборным семенным зерном, и в туго набитых мешках, и рассыпанным во время «бунта» хуторских женщин, и крохотным зернышком с тонюсеньким, от засухи беспомощным ростком на большой «закоженевшей» и в эту минуту, как никогда, ласковой ладони Давыдова, и наливыми колосьями поспевающей пшеницы, и, наконец, обмолоченным и засыпанным в закрома... Что более всего удивляет бедноту, когда раскулачивают Фрола Дамаскова? Не нарядные ситцы и сатины, кофты, платья, сапоги, а — пшеница в амбаре! По колено бродя в зерне, Демка Ушаков «хватал ее рукой, цедил сквозь пальцы». Оживленные голоса, хохот неслись из амбара — хлеб! «Пшеничка» которой Шолохов дает такие определения: золотистая, червонная, ядреная, твердозерная, тяжеловесная и т. д. определила многие важные события в романе, иные из них едва не закончились трагически...

Хлеб — основа культуры, быта, образа жизни героев Шолохова. Даже на исходе зимы у пахаря, когда он снимает кепку, «лоб, обрезанный полосой загара». Не легко давалась пшеничка! Зато там, где извечно выращивают хлеб, рождаются богатыри, подобно Демиду Молчуну: «легко, как ветку, отодвинет рукой» он всякого, кто встанет на пути. Золотом хлеба высвечена и шолоховская строка. «Крупнозернистым» видится писателю снег; обильный пот, выступивший у кого-то на лбу, — «зернистый»; из-под кузнечного молота, бьющего по раскаленному металлу, сыпятся не искры — «золотые зерна огня». На Тимофея Борщова на хуторском собрании горячий и яростный Нагульнов не накинулся, не набросился, нет — «насыпался». В зримом слове — картина стремительного потока зерна...

В непростом и суровом, но всегда неизменно ласковом, дружеском общении с землей «извечно медлительные» крестьяне творили это чудо, «мерило всех ценностей», а с ним и добрые традиции, открывающие духовную сущность хлеба. Сколько б его ни было в закрома родины, никогда не ослабнет Труд, дающий и оберегающий хлеб, не ослабнет и интерес писателей к труженикам земли — таким, как Кондрат Майданников...

В «Поднятой целине» показан весь путь и все стадии рождения исторически нового хлеба — уже не просто символа жизни, а социального благополучия миллионов

людей, их братских, интернациональных отношений. За такой хлеб, понятно, платили уже не только обильным потом, мозолями, но и кровью! Не случайно роман поначалу назывался «С кровью и потом».

Чем окончательное заглавие лучше первоначального? Подумаем. Заглавие — первая, а нередко и самая главная строчка в художественном произведении. Ее надо анализировать особенно вдумчиво. В жестокой, бескомпромиссной борьбе с теми, кто, как встарь, надеялся размежевать и людей, и землю, чтобы «своим зерном и для себя одного» засеять, погубили Давыдов, Нагульнов, чекисты Хижняк, Бойко... Герои тридцатых, они выполняли (и выполнили!) для своего времени свою продовольственную программу. Поколение восьмидесятых будет учиться у них, как бескорыстно и самоотверженно решать не менее грандиозные задачи сегодняшней Продовольственной, которая стала заботой и делом поистине каждого. Как и в тридцатые, всякий, в ком активная жизненная позиция, гражданское чувство, трудолюбие, дисциплина выражены такой же мерой зрелости и сознательности, как в Давыдове и Нагульнове, ощущает себя ответственным за землю. И это не только веление времени, — древний зов земли, того изначально родного и общего, что живет в нас. Даже Семен Давыдов — закоренелый горожанин, матрос, слесарь — до «сентиментальности» понял это. Неужели кто-нибудь сомневается в том, что, выполнив свою историческую миссию в деревне — создав колхоз, трудовой коллектив, дружную партячку, Давыдов, останься он в живых, снова вернулся бы в Ленинград, на свой Краснопутиловский? Ведь нет же! Земля, коль ты полюбил ее, не отпустит! «Пшеница, опутанная розовой повитью», «теплые, словно брызги парного молока, дождевые капли», «запах свежееобмолоченной соломы» и «легкий, парящий дух степного полынного сена» растревожат даже человека, с детства привыкшего к «горьковатому запаху горелого угля», «чудесному, незабываемому душку неостывшей окалины», аромату машинного масла, волнующим звукам и краскам города. А «холодная дорожная пыль», когда идешь босиком (в деревне — можно!), разве не волнует первыми, едва уловимыми приметами осени? Или «тронутые изморозной белизной облака», когда уже скошена нива? Еще немного, и «лебяжьим пухом молодого снега» оденется земля, щедро отдавшая себя человеку и... уставшая. Впрочем, и ему, человеку, тоже нелегко. В чьей-то чубатой голове

еще заметнее проглянут вдруг «ковыльные нити седины». Ведь не только на пашне — везде, в собственной душе тоже, — идет борьба за хлеб. Январь, февраль... пройдут так же стремительно, как и короткая осень. Неделя-другая — и в бурных потоках талой воды среди прочего разнотравья поплывут «хлебные корневища». Надо быть пахарем, ученым или зорким писателем, чтобы увидеть их — эти самые маленькие, но самые мощные и надежные корни нашей жизни.

Горе тому, кто, подобно Якову Островному (который и любил, и знал землю, обихаживал ее, как «хворую бабу»), вдруг свяжет свою судьбу с «кочевниками», извечными врагами «земледельца». От страха и угрызений совести «зеленым, словно капустный лист», высветится тогда прокаленное солнцем лицо...

Тем, кто распаханной целиной стирает межи на земле, спасая и людей, и землю, не сразу, конечно, удастся вырастить колос, который, как у иного «культурного» единоличника, едва «на ладони уляжется». Еще куда тяжел, изнурителен труд первых колхозников. Но вот и на огромных полях заурчат «сложные машины», многое изменится. Сохранится ли прежнее чувство земли, когда не «заскорузлые», но чуткие до нее руки, а холодный, равнодушный металл станет обрабатывать ее? Настоящий-то пахарь — «душевный человек», скажет шолоховский секретарь райкома Нестеренко. «Машина» не поубавит ли душевности, без которой, как бы ни была сложна и современна сама эта машина, земля в полной мере не откроется человеку? В хлебоборбе не победит ли хлебобоед, самоуверенно рассчитывающий на машину и бездонную щедрость земли? Подспудно Шолохов задает нам и эти вопросы. Второй том «Поднятой целины», законченный уже в конце пятидесятых, пронизан тревожной интонацией, хотя и рассказывает по-прежнему о тридцатом годе. В деревнях, среди тех, кто «возле курей возрастал с малых лет», вдруг начали появляться молодые люди «городского направления». В запустении оставались они свои деревни, в которых выросли сами, где жили и работали их прадеды, деды, отцы. Бессмертной силой художественных образов «Поднятая целина» Шолохова, как, впрочем, и книги Ф. Абрамова, М. Алексеева, В. Белова, В. Астафьева, С. Залыгина, П. Проскурина, В. Шукшина, зовут юного современника измерять свои поступки и побуждения таким уровнем совести, когда всё, о чем помышляешь и что делаешь, не может не быть

нравственным, ибо выражено ответственностью за неразрывную связь времен, чувство истории, память народа, за нескончаемую летопись хлеба...

Так начнем, друзья, этот важный и своевременный разговор о двух книгах великого романа. В зримых картинах и эпизодах Шолохов поведает о настоящей цене хлеба, который, к сожалению, мы действительно не всегда бережем. «А ведь достаточно каждому из нас сберечь в день всего десять граммов, — красноречиво говорит все тот же листок, — и все вместе мы сбережем в год почти один миллион тонн хлеба». Не правда ли, внушительная цифра! Сегодня, возможно, этот листок вы найдете и в своих почтовых ящиках. Вложите его как закладку и как напутствие в страницы шолоховского романа, который, убежден, все и до конца прочитают. Это и просьба, и наказ сразу двух обязательных программ: школьной, учебной, и... всенародной Продовольственной.

Итак, запишем тому...

Нет, это не вводное или вступительное слово (оно еще будет), это урок-предисловие, определивший «сверхзадачу» всех других уроков по «Поднятой целине». Он дал установку на современное прочтение литературного шедевра, т. е. более полную реализацию его нравственного потенциала. Предисловиями нередко сопровождаются книги, фильмы, концерты... Короткая, но доверительная беседа помогает читателю увидеть, зрителю прочитать, а слушателю услышать главную «тему» в богатстве ритмов, мелодий и образов. Предисловие настраивает, ориентирует, увлекает. Если урок литературы произведение педагогического искусства (а это именно так), то почему бы и здесь не быть предисловию? И как отдельному уроку ко всей теме, и как фрагменту в каждом отдельном уроке? Спортсмены, к примеру, знают, что дает им короткая разминка перед долгим, упорным соревнованием. Предисловие — своего рода духовная разминка. Тот первый неторопливый шаг, который дает ритм всей работе. А еще — некий образ самой главной сути, что предстоит понять и осмыслить во взаимных переходах книги и жизни.

СОАВТОРСТВО

Не редкость сегодня увидеть книгу, написанную двумя, а то и тремя авторами. Касается это и киносценария, да же еще больше. Соавторство — сплошь и рядом. А урок

литературы? Почему его должен «вытягивать» в одиночку учитель? Подобно писателю и сценаристу, не вступить ли и нам в соавторство с кем-нибудь из учеников? Научившись на паритетных началах работать с учителем, ребята по той же схеме будут сотрудничать и между собой: писать в соавторстве домашние сочинения, готовить доклады, обзоры литературных новинок, лекции, диспуты и т. д. Стремлением дополнить и обогатить друг друга творчески рождается соавторство. Нет такого человека, который бы умел всё. Относится это и к учителю. В результате какие-то грани урока в полную силу не высвечены либо совсем отсутствуют. Снижается продуктивность работы ребят и их интерес. Вместе с тем арсенал умений и знаний учеников, особенно старшеклассников, остается не востребуемым, что обедняет урок. Словесник, который берется за всё, не развивается сам и тормозит развитие ученика. Разумнее, полагаю, взяться за всех (постигая возможности каждого и свои), а не за всё, обедняя всех и себя. Полезно спросить себя: что умеешь ты как учитель делать лучше всего, а что получается хуже? Я, к примеру, не люблю и не умею делать обзоры, информировать о том, в чем нет и не может быть открытий, рассказывать биографии и т. д. Зато есть ученики, которые здесь явно превосходят меня. Зная их и свои возможности, с радостью иду на сотворчество, доверяя школьнику нередко большую и лучшую часть урока. Тематический план, которым многие годы пренебрегал, стал органически необходим и как своеобразный график целой системы и очередности **соавторских** уроков, и как некий табель учета своих и ученических умений, их рационального использования и совершенствования. Наконец, и как панорама того, чем предстоит взаимообогащаться каждому из нас за многие недели и месяцы совместной работы. Соавторство как творческий прием в итоге определило любопытную модель урока.

...Даже небольшому стихотворению, когда оно значимо, не колеблясь отдаю целый урок. Так было и в этот раз, сначала прочитали всё стихотворение Некрасова «Памяти Добролюбова», затем — по строчкам.

Суров ты был, ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять.

Совместно обсудили кое-какие секреты этого умения. Вспомнили Базарова, Рахметова. Поразмышляли над строчкой «Учил ты жить для славы, для свободы. Но бо-

лее учил ты умирать». В живых картинах и событиях воскрешая эпоху Добролюбова, объяснили не сразу понятное «более». Достойно умереть на эшафоте или в каземате становилось жизненной программой лучших людей того времени. Строка «Как женщину, ты родину любил...» вызвала дискуссию. Сошлись на том, что сыновнее чувство к Родине так же интимно, возвышенно и загадочно, как любовь к женщине. Подтвердили вывод примерами...

Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!

Стоп! А в самом деле — какой? какое? Риторические восклицания не доказательство! Хотя Некрасов и многое сказал нам художественной строкой, тем не менее нужны факты. Останавливаю урок в самом разгаре. О человеке-«светильнике» расскажет... К моему столу выходит ученица, а я сажусь за ее парту. Теперь она продолжает урок биографической справкой о Добролюбова. Скажут: по программе давно должен состояться этот разговор, еще в связи с темой «Революционно-демократическая журналистика». Верно. Но состоится он сейчас, как обоснование точности поэтической характеристики личности Добролюбова. Связать в одном (!) уроке (вместо двух-трех) биографическое и художественное — значит достигнуть большего результата, высвободить так необходимое дополнительное время на более сложное. Знания, кроме того, лучше усваиваются на эмоциональном фоне, а художественное, наполняясь конкретикой документального, оказывает особое воздействие. Подготовленный дома рассказ не просто информация, а дополнение и углубление анализа стихотворения, осмысление роли замечательного критика в развитии русской общественной и литературно-художественной мысли.

Не только класс, но и я кое-что впервые услышал о Добролюбова. Оказывается, «он работал безмерно легко» (Н. Г. Чернышевский), настолько естественным и ясным было для него все, о чем он писал. Этот «гениальный юноша» уже в 20 лет на равных сотрудничал в «Современнике» с Некрасовым и Чернышевским, которые были старше его: один — на 15, другой — на 8 лет. Когда же мой соавтор сказала, что бессмертную статью «Луч света в темном царстве», которую, подобно «Грозе», мы разбирали как высочайшее произведение искусства, Добролюбов написал в возрасте 24 лет, класс при-

тих. Но Добролюбов блестяще истолковал «Грозу» и в своей более ранней статье — «Темное царство». Великий драматург, прочитав «Темное царство», воскликнул: «Это будто я сам написал!» Необходимость и неизбежность появления «русских Инсаровых» 23-летний критик предсказал в статье «Когда же придет настоящий день?». А каким открытием стала его разоблачительная трактовка типа «лишнего человека»: Онегина, Печорина, Рудина! «Две его статьи — одна о романе Гончарова «Обломов», другая о романе Тургенева «Накануне» — ударили, как молния», — говорил В. И. Ленин. Поистине «светильник разуму»!

Некрасовскую строчку «Какое сердце биться перестало!» ученица раскрыла стихами самого Добролюбова:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен...

— Что такое честность? Обратимся к словарю Ожегова: добросовестный, проникнутый искренностью, прямоотой... Не объяснит ли это строку Некрасова «Но слишком рано твой ударил час...»? В 25 лет (1836—1861) уходит Добролюбов из жизни. «Не труд убивал его... его убивала гражданская скорбь», — скажет Николай Гаврилович Чернышевский. А некий недоброжелатель, возможно, и доносчик, покидая кладбище после похорон Добролюбова, желчно съязвил: «Новый вид чахотки открыл господин пророк — «от гражданской скорби». Да, именно эта чахотка погасила свет гения. «Победитель, не желающий замечать собственной смерти», — оценит его подвиг Салтыков-Щедрин...

И снова я выхожу к своему столу, чтобы продолжить. Не скажу, что это легко. Мой соавтор блистательно выполнила очень важную часть урока. В такой ситуации на первых порах выручит вопрос.

Плачь, русская земля! но и гордись —
С тех пор, как ты стоишь под небесами,
Такого сына не рождала ты...

— Так ли? А Белинский, Герцен, Писарев?
Но класс солидарен с Некрасовым.

В конце урока я и моя помощница отвечали на вопросы. Среди них был и такой: вместе или порознь готовились? Порознь. Урок рождался на самом уроке. И еще: какую литературу использовала соавтор? Некоторые названия работ ребята записали, чтобы прочитать самим.

В любом классе есть ученик, способный повести за собой других. Найти его и пойти за ним — мудрость учителя. В радости сотворчества рождается чувство общей ответственности — перед литературой, уроком, школой.

ЧТО УВИДЕЛИ С МОСТИКА

Можно, не выходя из класса (одной страничкой В. Маяковского), привести ребят в «коридорище» Смольного; книгами и записками Л. Толстого почти зримо приоткрыть панораму Бородина, Ясной Поляны; а петербургскими улицами и переулками вместе с Раскольниковым (опять же не выходя из класса) приблизиться к дому старухи процентщицы. Одно время даже упражнялся в искусстве урока, которому не нужны экскурсии, походы, поездки (когда работал в вечерней школе). Но с годами возникла потребность в уроках, «наглядностью» которых должно было стать увиденное в яви.

Вот один из таких уроков, прошедших под куполом неба, «у прохожих на виду».

— В зимний, слегка морозный солнечный день особенно прекрасна Дворцовая площадь. Оглянитесь вокруг. Набережная Мойки, где когда-то жил Пушкин. Чугунные решетки, посеребренные инеем, вспыхивают огнем уже (!) заходящего солнца. Адмиралтейская игла, точно призма, вобрав в себя косые лучи, весело рассыпает их брызгами золотистых искр. В княжеской нахлобученной шапке, приоткрыв гранитное веко, взирает на городскую сутолоку дремлющий Исаакий: вечно они спешат куда-то, эти люди и машины, что несутся им навстречу. А чуть сбоку — не в пример спокойно «державной» Неве — с утра и до полночи гудит неугомонный Невский. Неторопливо и не любопытствуя, кто мы, будто приготавливаясь к ритуалу, вливаются в уютный дворик Капеллы ценители искусства. Следы времен и стилей на каждом шагу... Камень и металл здесь не молчат. Но заставить их говорить, расположить к откровенности не просто. Попробуем? За этим, собственно, и пришли. Запишите в блокнотах тему урока: «Высота непокорности...» Всего четыре строки пушкинского «Памятника», даже не четыре, а одна, более того — одно лишь слово в строке, привели нас сюда.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрейского столпа.

— Что значит «выше»? «Прелесть нагой простоты» в стихах Пушкина обманчива. К тому же в тридцатые годы поэт все чаще и откровеннее тяготеет к точности и тонкости многозначного художественного символа. Но сперва о колонне. Перед вами тот самый Александрийский столп. Подойдем ближе и прочитаем на барельефе: «Александр Первому — благодарная Россия». Если Россия, то почему поэт отказался участвовать в церемониальном открытии колонны, состоявшемся в августе 1834 года? За пять дней до этого он демонстративно выехал из Петербурга, хотя в обязанности камер-юнкера, мундир которого он носил, вменялось присутствовать в свите царя во время дворцовых торжеств. Не зачеркивает ли Пушкин своим «отъездом», а затем и «Памятником» той «благодарности», которая на барельефе? Не зря Жуковский, редактируя строфу уже после смерти Пушкина, Александрийский столп заменил Наполеоновым. Изъято не просто слово, нарушена смысловая основа стиха. Тускнели, теряя остроту, и другие строфы. Была изъята главная пушкинская тема — царя и поэта, земного властителя и властителя дум. Но мы еще вернемся к этому. Хотелось бы услышать, что вы знаете об этой замечательной в архитектурном смысле колонне, возле которой, конечно, бывали не раз.

— Это самая высокая колонна в мире: 47,5 метра...

— Проект разработан Монферраном в 1829 году...

— Проект ангела, венчающего колонну, сделан Борисом Орловским...

— Диаметр около четырех метров. Из одного куска камня. Стоит за счет собственного веса. Весит 500 тонн...

— Камень нашли на Карельском перешейке...

— Поставлена колонна в 1830 году...

Класс поражен познаниями своих товарищей, которых я заранее попросил (соавторство!) собрать сведения о колонне, и самой информацией. Из одного куска! своим весом! самая высокая! Теперь пусть поработают и остальные. Не помешают и прохожие, остановившиеся послушать. Что же, на уроке, где отсутствуют стены и парты, аудиторию можно расширить.

— Так каков же смысл пушкинского «выше»?

Снимают варежки, открывают томики. Ответ ищем сообща.

— Выше... Это «дум высокое стремление».

— Торжество вечного над суетным и преходящим, живой поэтической души над мертвым камнем.

— Завершение исторического спора двух Александров: поэта и царя, один из которых по значению вознесся выше другого, «нечаянно пригретого славой».

— Пушкин жил и творил в «жестокий век», о котором В. Г. Белинский писал: «Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед» («Письмо к Гоголю»). «Выше» можно истолковать и как победу «таинственного певца» над цензурой.

— Не кто-нибудь, а он сам себе воздвиг памятник. Отсюда многократно повторяемое «я» («я... воздвиг», «я не умру», «славен буду я», «буду... любезен я» и т. д.).

— Выше... Это и торжество всенародного поэта над «ложной мудростью» своих именитых, но обреченных на забвение современников. «Не оспаривай глупца» — так заканчивается «Памятник». Не исключено, что в обобщенно-символическом образе глупца мыслится и фигура Николая, главного цензора Пушкина. Не царскому, а иному «велению» (какому — подумаем) послушно сердце поэта.

— «Хвалу и клевету приемли равнодушно...» Еще одно значение слова: лишь с высоты духовной можно уравнивать то и другое.

Интерес к некоторым нюансам «Памятника» разгорался. «Обиды не страшась...» В черновом варианте — «изгнания не страшась». Почему слово «обиды» точнее передавало душевное состояние поэта? Вспомнили лермонтовское «Не вынесла душа поэта позора мелочных обид...» Заметили и другое. «Хочу воспеть свободу миру», — писал Пушкин в 1817 году («Вольность»); в «Памятнике» (1836) употреблен уже глагол совершенного вида: «восславил я свободу». Не развести ли понятия «свобода» и «вольность»? Попытались.

Ребята уже потихоньку закрывали свои блокноты, книги, надевали варежки. Но урок, по сути, еще только начинался. Гурьбой отправились на мостик, что недалеко от квартиры Пушкина. Посмотрим на колонну со стороны. Может, ребята что-нибудь интересное заметят? Через этот мостик не раз проходил Пушкин... Я выбрал наиболее удобную точку обзора, приготовился задать вопрос, но не успел.

— Смотрите! У ангела головы нет...

Так с небольшой горбинки Певчего мостика ребята разглядели еще одно важнейшее «выше».

— Да, в смиренном поклоне голова ангела, сливаясь

с предплечьем поднятой вверх руки, и впрямь будто отсутствует. Не о такой ли «ангельской» покорности мечтали Александр и Николай, надеясь увидеть ее и в Пушкине? И вот — в контрасте с кротким ангелом другой «посланец неба»: поэт с «главою непокорной». Отсюда и «выше» — уже в буквальном смысле. Но дело, конечно, не в этом. Обратите внимание на архитектурную особенность всего Дворцового ансамбля. От центра площади колонна несколько отнесена к Зимнему, проецируясь на главный балкон. Чуть позже убедимся в этом. А пока выскажу не бесспорную догадку. В сопоставлении двух «памятников», двух «посланцев» Пушкин улавливает возможность подцензурного намека на свое отношение к Зимнему, к самодержавию, царю. И там, в вышине, и здесь, на земле, и над и перед Зимним бросает он гордый вызов «златому кругу вельмож». Если хотите, это своеобразный бунт... на Дворцовой площади. В «Медном всаднике» поэт выводит на площадь своего героя, маленького униженного Евгения, чтобы тот шепнул пророческое «Ужо тебе!..» «державцу полумира». В «Памятнике» он вступает в открытое противоборство с венчанным «кумиром». Два бунта на двух исторических площадях!

Никто не заметил, как наступили сумерки. Вот-вот вспыхнут неоновые огни — и воскрешенные лики уйдут в прошлое. Но Пушкин останется и станет еще ближе. Обошли Дворцовую площадь, чтобы выйти на Невский. За нами двинулись и «вольнотрусы». «А «Медный всадник»-то рядом! Идемте!» — предложили ребята. Ю. Тынянов сказал однажды: в Москве главное — дома, в Петербурге — площади. Что ж, побываем еще на одной. Наш урок продолжался. Родной город помогал нам лучше понять и литературу, и историю, и самих себя. И конечно, читали любимые стихи, открывая новые глубины поэтического слова. Как откровение восприняли строки Анны Ахматовой:

Вновь Исакий в облаченьи
Из литого серебра.
Стынет в грозном нетерпеньи
Конь Великого Петра.

И ШАГИ И СЛОВА...

Не раз наблюдал, как трудно ребятам на уроке найти слова, чтобы высказать себя, передать свои мысли, чувства, впечатления. Огорчало и гаевское пустозвонство

одних, и речевая скованность других. Особенности возраста или просчеты урока? Начал приглядываться и прислушиваться к ребятам — не на уроках, а на переменах. Легко, непринужденно, выразительно говорят они между собой, мгновенно излечиваясь от косноязычия. Не только руками и ногами, оказывается, еще больше застоявшейся душой, окаменевшим языком хочется им подвигать. Потребность эта возрастает, когда заканчивается учебный день. Свободно льется их речь, не заторможенная установками на правильность, логичность, глубину, выразительность...

Кому неизвестно, что мышление ребят образно, метафорично. Надо только создать условия, дать возможность высказаться без принуждения со стороны — и вот уже монолог Чацкого, исповедь Онегина, дневник Печорина. Но как раз эту возможность и отнимаем пресловутыми «планами», «тезисами». Школьник не может, не умеет и не должен мыслить по «пунктам». Нечто совсем другое нужно. Вот и подошли к главному. Образное, метафорическое мышление всегда сюжетное. Именно сюжет дает каждому (!) путь развития своей мысли. Трафаретами наших рекомендаций с неизменным набором «можно — нельзя» мы, в сущности, отнимаем у ребят сюжет, делая их в итоге безъязыкими. Лишаем радости быть художником собственной мысли и слова, в себе, а не только в писателе искать стезю образного самораскрытия, т.е. осваивать литературу как искусство. Помочь ученикам в том, что им уже дано, что они умеют, мудрее, нежели «переделывать» их инерцией отживших дидактических правил. Так, вместо плана, хода урока в моей рабочей тетради появилась рубрика «Сюжет урока». А с нею — и принципиально новый тип урока-сценария в соавторстве с писателем. «Я думал уж о форме плана и как героя назову», — писал Пушкин в «Онегине». Не о такой ли сюжетной форме должен подумать и словесник? Последовательность, логичность, аргументированность — всё, всё остается, только в ином — эстетическом качестве, более органичном, доступном. Сюжет, кстати, наилучший регулятор того, сколько и какого материала должно быть на уроке, какие фрагменты его сценария и кто пишет: учитель, ребята или обе стороны сразу. Сюжет остается в памяти целиком — диалектической связью частного и общего, какая нередко обрывается, если отсутствует стержень образной мысли. Сюжетный урок, с вариантом которого познакомлю, родился не

из досужего желания разнообразить формы, средства, а от насущной потребности разговорить ребят, пробудить в них негаснущий интерес к слову.

«Вот смотри: ее отец — богатый, торгует железом, имеет несколько домов. За то, что она пошла этой дорогой, он — прогнал ее. Она воспитывалась в тепле, ее баловали всем, чего она хотела, а сейчас вот пойдет семь верст ночью, одна...»

Это поразило мать».

— А нас, читателей романа «Мать», разве не поражает «это»? Несколько домов — и вдруг ни одного! Жить в тепле, комфорте, требовать все, что душа пожелает, и — ночью (!) семь верст (!) одной (!) — идти в город из рабочей слободки. Ласкали, баловали — теперь ненавидят, гонят. Надеюсь, понятно, о какой «дороге» идет речь? Тогда запишем тему урока: «Им было что терять...» Им — революционерам-интеллигентам, в частности Наташе, о которой только что рассказывал Павел. Разумеется, не все люди того времени избирали для себя ту дорогу, по которой пошла Наташа, а лишь те, кого мы с полным правом можем назвать высоким и ответственным словом *интеллигент*. Объясним его смысл? Да, сейчас Наташа идет семь верст... А завтра той же дорогой, быть может, и семь тысяч — на каторгу или в ссылку. Не исключено, что наручники и кандалы будут сделаны из железа, которым торгует ее отец. Впрочем, уже и не отец. Не потому что прогнал. Коль утрачиваются идейные, нравственные связи, обрываются и родственные. Хоть раз пожалела Наташа, что пошла этой дорогой? За такими, как она, той же дорогой пошли Власовы, Самойловы, Федины, Весовщиковы, назвав себя социалистами. Но бывають и вынужденные остановки. Об одной из них рассказывает Софья:

«Однажды я сочла себя несчастной... Это было в ссылке... Я складывала все мои несчастья и взвешивала от нечего делать: вот — поссорилась с отцом, которого любила, прогнали из гимназии и оскорбили, тюрьма, предательство товарища, который был близок мне, арест мужа, опять тюрьма и ссылка, смерть мужа. И мне тогда казалось, что самый несчастный человек — это я. Но все мои несчастья — и в десять раз больше — не стоят месяца вашей жизни, Пелагея Ниловна...»

Наташе проще — ее прогнали. Софья сама уходит от отца, которого любит. Точнее, любила. Все тот же разрыв — идейный, нравственный. Его последствия для

Софьи, пожалуй, более ощутимы. Сколько несчастий! Самое горькое? Смерть мужа конечно. Но для идущего этой дорогой есть беды и пострашнее. Предательство товарища? Глубокая травма, не спорю, но, как и потерю отца, смерть мужа, пережить, в общем, можно. Гнетущее «нечего делать» — вот самое мучительное! «Складывать беды» в той последовательности, в какой они пришли, — занятие, согласитесь, невеселое. Но рядом с Ниловной и ее судьбой как-то совестно жаловаться на свою. Не в том ли еще примета подлинной интеллигентности: знать, с кем сравнивать себя? С теми, от которых ушел, или с другими, к которым идешь, чтобы помочь? А когда Павел, простой рабочий, «обогнал» и ее и других своих учителей, став их вожаком, не огорчилась, а искренне порадовалась тому, во что верила, — духовной красоте рабочего человека.

Вынужденные остановки — позади. Одуматься? Свернуть в сторону? Нет! Немедля за работу, а силы — придут в пути.

«— Мокрая вы вся...

— Я листовки и книжки принесла...

— Давайте, давайте! — заторопилась мать.

Девушка быстро расстегнула пальто, встряхнулась, и с нее, точно листья с дерева, посыпались на пол, шестя, пачки бумаги...

— Только что выпустили вас, — вам бы отдохнуть, а вы! — вздохнув и качая головой, сказала мать.

— Нужно! — ответила девушка...»

Это — Сашенька, той же породы настоящих людей. Восемь дней не принимала она пищи, пока тюремный надзиратель, оскорбивший ее, не извинился. Не прощать обид, унижающих достоинство, — черта истинного интеллигента. «Ой-ой, сколько принесли!» — изумляется мать. Теперь это поражает ее. И другое. Спокойная, естественная реакция Сашеньки: «Нужно!» Что нужно — то и желанно! Впрочем, одно «нужно» не принято сердцем (какое?), но и ему покорно следует гордая, мужественная девушка, чем-то напоминающая тургеневскую. Вот и за такими, как Саша, пошли...

Здесь мы, пожалуй, оборвем сюжет, стержнем которого, как заметил читатель, стала дорога. Ко всему. В первую очередь к собирательному образу революционеров-интеллигентов. Вслед за Наташей, Софьей, Сашей, как живые, предстают (уже в монологическом рассказе ученика, опирающегося на сюжет дороги) Николай Ива-

нович, Егор Иванович, Людмила... Каждый органично раскрывал и себя, и остальных, а в целом роман. Ребята подчас теряются и выглядят беспомощными, когда не двух-трех, а сразу шесть (!) персонажей надо свести воедино. Даже искусные «приемы» не помогают. А вот сюжет как сценарий развития учебной темы дает и шаги, т. е. движение мысли, и слова. Многократно варьирующийся рефрен («Вот за такими, как... пошли...») сыграл роль художественного обобщения, а не примитивного вывода с набором докучливых «итак», «следовательно», «таким образом». Сама дорога обретала смысл многозначного символа. Это и путь революционной борьбы, и семь нелегких (!) верст до рабочей слободки, и связь города с окраиной, научной теории со стихийным протестом и т. д. Сюжетом дороги ныне пробую объяснить все-го Горького, а не только роман «Мать». Данко, не зная пути, ведет свое племя сквозь чащобу непроходимого леса («Старуха Изергиль»); «Середь но-очи... пу-уть-дорогу не-е видать...» — неспроста напевает Лука, а Актер стихами Беранже: «...к правде святой мир дорогу найти не умеет» — вторит ему, усиливая мотив обреченности не отыскавших выхода («На дне»); «факел, поднятый Лениным в душевной тьме обезумевшего мира», указывает всему человечеству путь спасения (очерк «В. И. Ленин»).

Подарить ребятам сюжет стремлюсь на каждом уроке. Ибо только на этой основе — ассоциативного, образного мышления — возможны расширенные монологи. И еще. «По-киношному» выстроить рассказ как серию динамичных кадров (эпизодов, сцен, диалогов), с таким же динамичным **самораскрывающимся** сюжетом — это уже не просто противостоять всевластию экрана, а идти дальше: доказать извечные ценности и преимущества художественной книги. Сюжетный урок позволяет определить и разумную меру использования наглядно-технических средств в обучении, которыми иные словесники явно злоупотребляют, не приближая, а, наоборот, отдаляя от ребят литературу как искусство **зримого** слова.

ВВЕДЕНИЕ В КНИГУ

«Отцы и дети» Тургенева — наитруднейший из романов школьной программы. Долго готовил вступительное слово. Предупредил: урок не из легких. Просил кое-что перечитать, сделать пометки, продумать вопросы. И вот я

в классе. Неторопливо иду вдоль рядов — убедиться, у каждого ли текст. Рассматриваю иллюстрированные обложки тургеневского шедевра. Какие разные, неожиданные! Как тонко и умно схвачены художниками-оформителями основные фигуры, конфликт, идея. «Собрать и прокомментировать «обложки» — лучшего, пожалуй, и не придумать», — мелькнула мысль. Не только вступительным, но и **наглядным** будет урок. Оригинальным безусловно. Образ романа, увиденный и угаданный и отдельными штрихами (пока этого достаточно) раскрытый, поможет прочитать, дочитать, а иным и перечитать «Отцов и детей». Тут же выбрал обложку (художник — И. Архипов).

Справа и сверху на красном фоне братья Кирсановы — «старенькие романтики», два «архаических явления», как их называет Базаров, — музицируют. Николай Петрович хоть это умеет — играть на виолончели. Вызвал кого-то к доске, написали слово *виолончель*, в котором обычно делают ошибку. Старший брат, Павел Петрович, картинно скрестив на груди руки, наслаждается игрой.

— Что мог исполнять младший Кирсанов? Возможно, Шуберта. Кое-какие намеки в романе на этот счет есть. Деревенская идиллия, не так ли? Безмятежная, учительная. А теперь познакомимся с майским пейзажем. С него не случайно начинается роман. Ужасающая картина нищеты, опустошения... Но «барчуков» это, кажется, не очень волнует. Нигилиста Базарова, отрицающего музыку, любовь, красивые слова, вдруг начинаешь понимать. Но понимать не значит принимать, тем более безоговорочно. Запишем тему ближайшего сочинения: «То было раннею весной, трава едва всходила» (по роману «Отцы и дети»). Трава — и в самой природе (май), и в мире социальных отношений («едва всходили» и Базаровы).

Николай Петрович неспроста музицирует: влюблен! блаженствует! А вот «дети» (посмотрим на нижний рисунок справа) о чем-то жарко спорят, волнуются. В Аркадии, слепо обожающем Базарова, снова (в который уже раз!) заговорило «родственное чувство». Вскинув руку на манер своего дяди, он произносит высокопарно: «Полно Евгений... послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас...» Что-то недоброе, зловещее (вглядитесь) просыпается в Базарове. Из таинственно-интригующего «нас» (новые люди, ре-

волюционеры-демократы) он исключит не только Ситникова, Кукшину, но и своего приятеля, с которым давно назревает разрыв. «Нас» в романе представлено одним лицом — Базаровым. Не он, не Базаров, которому суждено умереть, а Аркадий, будущий «рьяный хозяин», дает оценку майской предреформенной деревне.

Пустил книгу по рядам. Одно дело, когда в руках школьника репродукция, и совсем другое — рисунок, за которым (весомо и многозначаче) двести страниц текста. Художественного, тургеневского! Спешить не надо. Пусть каждый подержит книгу: свою (у многих точно такая же обложка) и ту, которую держал я. Суть приема проста: обложку комментируют охотнее, чем страницы! Всякому хочется взглянуться, вчитаться, а затем и высказаться.

— Не есть ли Аркадий улучшенный вариант Ситникова?

— Ситникова — нет, а вот своего отца, «божьей коровки», по выражению Базарова, пожалуй. Не случайно в один день и в одной церкви состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой. Между прочим, как ботаник и зоолог, Базаров с позиций «естественной истории» многим дает лаконичные оценки. Кому и какие? Подумайте заодно: кто больше любит своего отца — Базаров или Овод? Тот и другой атеисты, революционеры. Ставить их в один ряд, разумеется, нельзя, но сравнить их отношение к отцам — отчего же? «Барчуки проклятые», — уже с позиций социальной истории скажет Базаров о братьях Кирсановых. Сколько ненависти, злости! В собирательное «барчуки» помимо братьев он, возможно, включил и Аркадия, даже Одинцову, которая вместе с любовью пробудила в нем и ненависть. Но лишь текст ответит на это.

По лицам вижу, как иные «перечитывают» не обложку, а себя — не подготовленного к уроку. Немногое увидишь в рисунке, не зная текста. Героями урока становятся читатели.

Вводное слово. Его цель — разбудить, а не отнять читательскую инициативу. Что дома, а что в классе — проблема всякого, но в большей степени вступительного урока. Дома, к примеру, ребята отыщут и поймут оценки Базарова, а в классе объяснят, почему не в одну, а как бы в три строки, наподобие стихов Маяковского, написанно на обложке заглавие романа. Каков смысл такой лессенки? Причем левая и верхняя часть заголовка («отцы»)

композиционно сопряжена не просто с Кирсановыми, и с одним из них — Павлом Петровичем. Очевидно, он-то и есть главный антагонист Базарова. Другая часть заголовка («дети» — внизу обложки) всецело над Базаровым, лишь поднятая рука Аркадия под буквой д, сам же он за рамками слова.

С интересом комментируют ребята и эту особенность оформления. Улавливают, что союз *и*, становясь строчкой, по смыслу тоже конфликтен, не соединяет, а разделяет — и слова, и рисунки, и в самом рисунке действующих лиц.

— Наверное, никто из литературных героев не высказал такого количества афоризмов, как «химик» Базаров. Разве что Печорин и Чацкий да горьковский Лука не уступят. Многие афоризмы тургеневского героя метки, ироничны. За каждым — работа мысли, стремление многое понять и обозначить формулой. «Кто злиться на свою боль, тот непременно ее победит». О какой боли говорит Базаров? Безусловно о той, что причинила ему Одинцова. Но есть и другая — неодолимая, которая ожесточила, в чем-то и искадила его характер. Явившийся раньше времени, по словам Тургенева, лишь «до половины выросший из почвы», Базаров несет в себе и боль исторически неразрешимых задач. Попробуем по некоторым афоризмам Базарова понять и его самого, и эту боль, и отчасти даже позицию автора. Заодно решим: в ком же больше аристократизма, не по внешним признакам, а по духу, — в Кирсанове или демократе-разночинеце? Оценим их поведение в двух дуэлях: за чаем и в рощице. И еще в одной — с любовью. Есть и четвертая, касающаяся только Базарова, — со смертью.

Урок шел к концу. Исчерпав себя, иные тайком разглядывали иллюстрации книг, до которых не дошла очередь. Другие с горечью посматривали на переплеты, где, кроме автора и заглавия, не было ничего. Глядя на них, подумал: любую школьную книгу надо непременно иллюстрировать. Обложка — первая и как бы собирательная страница текста, которую радостно прочитать сообщая. И тут не просто методический прием. Если угодно, самостоятельный путь изучения художественного произведения: по обложкам! Способом соотнесения увиденного в рисунке и в слове. Возможна и полемика с художником-иллюстратором и варианты своего оформления книги, т. е. выбора страницы, открывающей замысел. Кто умеет рисовать, сделает это буквально — красками, ос-

тальные потренируются в устном изображении. Уже давно и с интересом комментирую обложки разных изданий одного и того же произведения. Эффект необыкновенный. Мечтаю об обложке, которая в рисунках (!) представит всю систему уроков. Разные рисунки и их комплексы — это и разные системы подхода к тексту, и разные способы его изучения. Внешние и глубинные истоки наглядности отныне в самой книге, что называется под рукой и в руках. Анализ произведения «от обложки», разумеется, не исключает технических средств обучения. Но их необходимость уже не так велика. Обложкой можно и начать, и завершить анализ. Обобщающий урок по рисункам захватывает еще больше, чем вступительный. Домашнее сочинение, где каждый комментирует свою обложку, а учитель — сочинения и обложки, дает новый вариант той же структуры. Сколько возможностей у словесника, соединившего внешнее и внутреннее видение книги в еще не раскрытых переплетениях того и другого! Здесь урок — уже соавторство с художником-оформителем.

«Войну и мир», наверное, обложкой не прокомментируешь, «Преступление и наказание» тоже. А вот «Героя нашего времени», «Отцов и детей», «Как закалялась сталь» удавалось и удается. Много зависит оттого, как книга оформлена. Известно, что у иных писателей своя особая символика цвета. Причем в разные периоды творчества доминирует тот или иной цвет. У Горького, например, контрастные сочетания белого и черного; у Маяковского — красного и голубого; у Блока — лиловые краски: знак смятения, надвигающейся грозы; у Есенина преобладают цвета русской березы в разные времена года: белая, зеленая, желтая. Хотелось бы в рисунках увидеть и эту символику. Тут есть о чем поговорить с классом, не прибегая к диафильмам, репродукциям.

— Ваши ребята капризничают, — сказала мне школьный библиотекарь, — требуют только иллюстрированные книги. Неужели это так важно для старшеклассников?

Представьте, важно. Помочь ребятам **быть** с книгой. Случалось, ученик приносил на урок не один, а два-три текста, т. е. книгу в разных изданиях. Тут же лишние экземпляры отдавал тем, для кого библиотека всегда «закрыта». Не только школьная, районная, но и своя. А вот книга одноклассника (!) с картинками (!), взятая из рук учителя (!) прямо на уроке (!), обязывала к домашнему чтению. Наивно, быть может, но это так. Никогда не

комментирую внутренние рисунки, ибо их конкретика не охватывает замысла. А суть приема — увлечь книгой, ввести в ее сложный, таинственный мир.

«АНДРЮША-ТО... В ГОРУ ПОШЕЛ!»

Издавна давал и даю одну тему сочинения. Этим, во-первых, обеспечиваю ситуацию конкурентности: наиболее интересные, яркие сочинения не только оцениваю отличной отметкой, но и отличаю призом на память: книгой, блокнотом и т. д. Даже такая мелочь, какой пастой выведена отметка, имеет оценочное значение: «пятерка» может быть золотой, серебряной, бронзовой и просто чернильной. Такой «спортивный момент» стимулирует творческую мысль ребят, стремление выразить себя, а не просто отписаться. Во-вторых, на одной теме легче понять, чем живет класс и каждый в отдельности. Знать это должен не только я, но и ребята, нравственно воздействующие друг на друга. Возразят: когда много тем, всякий, выбирая свою, даст еще больше информации. Не думаю.

Но если «больше», то обработать ее неформально труднее. И потом: в воспитательных целях гораздо важнее, чтобы ученик «выбрал» тему, которая нужна мне. Есть и в-третьих. Об этом и пойдет речь.

...Десятиклассники больше недели работали над сочинением, тема которого для их возраста особенно актуальна: «Человек, с которым иду по жизни рядом». Поэтому каждый год даю эту тему. Какой человек для сегодняшних моих учеников особенно авторитетен, в ком видят свой идеал?

— Некогда Корчагин с Оводом прошел всю гражданскую. А позднее благодаря Корчагину вернулся в строй летчик Мересьев... У каждого на разных этапах судьбы, видимо, есть «тот», кто определяет твои «шаги». О нем то и нужно написать. Если же его нет, полезно выяснить, почему? Никого рядом, — значит, стоишь на месте. Всерьез идем, когда к кому-то или с кем-то к чему-то приближаемся. К кому, с кем и к чему? Во всем или частично завоевал он твою симпатию? В какие минуты особенно ощущаешь его близость? Чем интересен для него ты сам, кроме желаний быть вместе и стать лучше? Какие упреки мысленно делает он тебе в тайном диалоге? Вот некоторые из тех вопросов, какие ты задашь себе.

С нетерпением ждал я этих работ. Кто лучше и честнее расскажет о «своем» человеке, а в общем, о себе. Искренность — то первое условие, что определит высокий балл и цвет пасты. По жанру пусть это будет как бы страничка из дневника. Но не та, что спрячешь, а которую можешь, должен и в глубине души очень хочешь дать прочитать другим. В свою очередь и сам рассчитываешь на такую же откровенность. Вот и обменяемся страничками дневников. Оттого, что себя и другого мы знаем порой намного хуже той книги, которую сообщаем изучаем, ни наша личная судьба, ни жизнь близких, ни сама книга не выигрывают.

Три десятка откровений. Кто-то идет по жизни (подумать только!) с Гамлетом. Но понимает ли всерьез Гамлета и всю сложность его трагедии? Как-нибудь потолкуем, чтобы не «проверить», а помочь: ему стать Гамлетом, себе — учителем. Еще откровение. Тревожное. Восторженно школьница пишет об «одном» человеке, который «тонко разбирается в искусстве» и с которым хоть и недавно, но чуть ли не каждый день встречается. То, что он почти вдвое старше и, по-видимому, женат, не смущает. Слово *искусство* написано с одним с. И тут не только орфографическая незрелость. В порядке повторения как-нибудь попрошу девушку рассказать классу о чеховской «Чайке», где тоже «много разговоров о литературе», но Чайка, как и душа героини пьесы Нины Заречной, подстрелена именно тем, кто «тонко разбирается в искусстве»... В других сочинениях кумирами названы Алла Пугачева, Владимир Высоцкий, Владислав Третьяк... И вот, наконец, то самое, долгожданное откровение, ради которого, сознаюсь, и давал эту тему.

«Человек, с которым иду рядом, — Семен Давыдов из романа «Поднятая целина». Простой рабочий, путиловский слесарь. Один из многих, чьими руками Страна Советов создавала свой первый трактор», — писал Андрей В. Дальше — всё о Давыдове. О ключах, с которыми он приехал на хутор, о том, что это не просто инструмент, а частица его жизни, завода, судьбы. Варинных сестер и братьев берет на воспитание, будто родных. Одним словом — с Давыдовым! Хотя и не будет, как он, слесарем (потянуло в учителя).

Об Андрее В. и его семье я располагал довольно солидной информацией. С нее и начал урок.

— Это хорошо, что с Давыдовым... Но что знаешь ты о своем отце, Андрей? Поинтересуйся. Возможно, захо-

чется идти рядом? Не быть, а идти. Или как у поэта: «И про отца родного своего мы, зная всё, не знаем ничего»? Кстати, чьи строчки?

Не Андрея, а ребят спросил, создавая иллюзию разговора со всеми. Андрей действительно немного знал об отце, который к тому же не был ему родным. «Свой» ушел из семьи, когда мальчик учился в пятом классе, а восьмой (самый трудный, переломный) заканчивал уже с отчимом и вряд ли без него оказался бы в десятом. Появились дружки, компания. Под сигаретный дымок часами брэнчал на гитаре в кругу таких же, как он. Был лидером, а среди учителей слыл запущенным, трудным. Отчима в школу не вызывали: почти каждый день приходил сам. Не для того, чтобы узнать об очередных «подвигах» Андрея, — разобраться, как и в чем нужно ему помочь. Не сразу они пришли к взаимопониманию. Но мудрость и терпение взрослого отвратили возможную беду. Как-то воскресным утром беру в киоске газеты, и подаю их мне в кошечко вместе со сдачей... отчим Андрея. «Работу сменил?» — «Матери нездоровится, заменяю», — услышал в ответ. А в понедельник он вместе с Андреем и его компанией допоздна готовил школьный актальный зал к вечеру. На мой немой вопрос ответил, счастливо улыбаясь: «Андрюша-то, кажется, в гору пошел!»

Опустив кое-какие подробности, весь урок рассказывал я Андрею и классу о человеке, с которым, пожалуй, и мне бы хотелось шагать рядом. Не бросит, заменит, выручит. Примером, а не укором подскажет, куда и с кем идти, как помочь, если кому-то худо.

Однажды, когда Андрей уже учился в девятом, снова встретил его отца: «Как с планом? Выполняете?» — «Выполняем! И рабочий, и этот!» — он показал школьный дневник сына. Отец, выполняющий сразу два плана, не есть ли самый родной?!

— Посмотрим же внимательнее вокруг. Герои, идеалы нередко совсем рядом. Вместе с нами украшают елку, с пристрастием листают школьные дневники, прощают причиненные им обиды... Оглянемся же на них — незаметных устроителей нашей судьбы, подлинных героев жизни. Пойдем рядом с ними, но не потому только, чтобы самим испытать облегчение, а чтобы в горькую минуту их жизни вот так же незаметно и мудро, как они нам, подать им и свою руку...

— Можно переписать сочинение? — робко спросил кто-то.

Это был последний и очень важный аккорд урока о человеке, который помог другому, а теперь, надеюсь, и всем нам идти в гору, дорастать до справедливости и благородства.

Удачный урок, как взятый рубеж: хочется обернуться. Вспомнить что-то важное, чему не придал значения и что, возможно, каким-то образом повлияло на урок. Осознать эти «что-то» и «каким-то образом».

Год назад мы говорили об Андрее Болконском («Война и мир»). Отправляясь на войну и прощаясь с отцом, он просит: «Ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя... чтобы он вырос у вас... пожалуйста».

— Как князь Андрей, кто доверит своего будущего ребенка отцу? — так прямо и спросил у ребят.

И что же? Для многих вопрос оказался нелегким.

Что знаем мы про братьев, про друзей?
Что знаем о единственной своей?
И про отца...

В какого отца вырастать? Этот вопрос должен волновать юношей. Пусть старый князь некогда получил отставку императорского двора. Пусть. Зато не получил отставки у собственного сына! А это поважнее. Как часто нам не хватает времени на подлинное, а не мнимое, «откупающее» внимание к детям. Один папаша буквально умолял, чтобы я помог его сыну успешно закончить школу. Отцу — некогда. В две смены работает: очередь на машину подходит! Но если не дети главная наша ценность и забота, то что же? Внешне отец и сын, казалось бы, рядом. А на самом деле? Один работает в две смены, а другой перестает учиться даже в одну. Разумеется, я помог отцу. А окажись на моем месте молоденькая «современная» учительница, подобная той, что без обиняков заявила на родительском собрании: «Я должна устраивать личную жизнь. Воспитывайте детей сами»? Вот и получится: ни семья, ни школа. В юноше помимо труженика, патриота, воина, любящего сына нужно воспитывать и надежного отца. «Отцовское» в мужчине — ныне проблема остросоциальная, а для урока литературы опять же нравственная. Оживить для ребят литературного героя, безусловно, непросто. Еще сложнее включить в урок чью-то живую судьбу, связать ее с учебными, нравственными и социальными проблемами. Обычное школьное сочинение нередко хороший повод для этого.

Но бывает и по-другому: весь урок говорят ребята, а сочинение пишу я.

НАШ ОТВЕТ

Коллеги не дадут слукавить: чуть не каждый день в школу приходят письма, адресованные мне. Порой целая кипа. Пишут отовсюду, в основном учителя. Одни просят на урок, другие, наоборот, просят приехать, третьи ищут поддержки, и не только профессиональной. По статьям и книгам угадывают сущность моего учительского «я» — помочь тем, кому я нужен сейчас, а не в отдаленном будущем, кто нуждается в опоре. А ее, опоры, всем, даже благополучным, не хватает. Им, пожалуй, еще больше. Ученые коллеги категорически осуждают: облегченными, дескать, путями и не к тем знаниям иду сам и веду за собой. И вообще сделал литературу «поводом», а не «предметом». Рискуя вызвать еще большее возмущение, скажу: литература иной раз внешне отсутствует даже как повод. Хотя, что бы ни делал, будь то урок, выступление на родительском или комсомольском собрании, классном часе, выпускном вечере, шел от нее, от ее нравственных исканий и прозрений, а значит, и к ней. И так, об уроке без повода.

Это письмо дочитывал уже со звонком на урок: «Пожалуйста... напишите мне, как выбраться из трудной ситуации...» Прислано оно из далекого Красноярского края. Значит, шло... Доставили в четверг, получил лишь в понедельник... Надо поскорее ответить. Сразу после уроков литературный вечер, а там еще какие-то другие неотложные дела... Аккуратно сложил письмо, раскрыл «Войну и мир». Но начать не смог. Вдруг ясно понял: надо сейчас, не медля. На уроке и вместе с ребятами. Может, что-то доброе подскажут? Не смутило и присутствие директора, человека мудрого, искушенного в педагогике. Останавливало одно: имею ли право открывать другим доверенное только тебе? Но то, о чем говорилось в письме, каким-то образом касалось и ребят, было важным для них. И я решил. Рассказал о письме, попросил помощи, совета, потому что очень многое будет зависеть от того, что отвечу, может быть, судьба человека. Сообщил, что письмо от учительницы, что оно... «Вы прочитайте!» — просто и мудро прозвучало из глубины класса. Вряд ли страницы литературного шедевра ребята слушали с таким чутким вниманием, как это письмо.

Здравствуй, дорогой Евгений Николаевич!

Вам, наверное, пишут очень многие, и это, вероятно, отрывает Вас от работы. Извините, наберитесь терпения и, пожалуйста, прочтите и мое письмо.

Я сельская учительница русского языка и литературы в средней школе... Мне 29 лет, в 1975 году окончила пединститут. Живу в деревне с пятилетним сыном. Муж умер в том же, 75-м году. Хочу бросить учительскую работу, деревню, а на что это променяю — не представляю. Живу я в деревне четвертый год и чувствую, что дальше так жить невозможно. Многие иронизируют, что все причины моего недовольства жизнью — в одиночестве. Советуют: «Выйди замуж, и все будет хорошо». Может быть, они и правы. Но если бы всё было только в этом! Пятый год работаю в школе, а удовлетворения не чувствую. Многие дети любят мои уроки, уважают меня, даже решили тоже стать учителями литературы, но я-то вижу, что даю детям ничтожные крохи, а как добиться большего — не знаю. Наш коллектив всего из 10 человек состоит, учим мы около 160 учащихся, но лишь одна учительница немецкого языка добивается того, что все дети учат ее предмет, и качество знаний у нее истинное, не липовое. Добивается она этого диктаторскими методами, их перенять я не могу, слишком люблю литературу, чтобы заставлять любимыми путями учить ее. Ведь дети немецкий знают, но ненавидят. У других положение такое же, как и у меня, значит, это наша общая проблема. Что же мешает мне стать хорошим учителем? Во-первых, у меня мало знаний, а как их пополнить — не знаю. В моей личной библиотеке около тысячи томов, но этого очень мало, пополнить библиотеку трудно, так как книжный магазин в городе и он крайне беден. Школьная библиотека еще беднее, в ней нет даже самой необходимой программной литературы, а для 9—10-го классов — ни одной книги (ни программной, ни для внеклассного чтения). Просим, требуем этих книг у своего директора (кстати, третий директор на моей памяти здесь), но где он их возьмет?! Учим мы детей трех деревень. В двух деревнях вообще нет библиотек, а в нашей есть, но в ужасном состоянии. Опять же — директор клуба за четыре года, вероятно, двадцатый. Заботиться о книгах некому. Первые два года я на свои собственные деньги где могла покупала книги, а директора изыскивали средства, чтобы мне их вернуть. Теперь покупать книги стало еще тяжелее. Попросту негде. Вы спросите: а что же наш отдел учебных заведений? Он только в актах проверок констатирует факт нашей бедности. Помощи же от них не дождешься. В школе нет ни одного словаря, нет пособий по развитию речи, нет картин для внеклассной работы. Все, что мы просим, заказываем, оседает в городских школах, до нашей школы доходят жалкие крохи. В моем кабинете ничего нет, кроме фильмоскопа и нескольких диафильмов (проигрыватель сломан, эпидиаскоп без лампочки — всё дефицит). Есть у меня несколько пластинок, диапозитивы, но пользоваться ими приходится редко. Киноустановка одна на всю школу, фильмы приходят не вовремя, прокручиваем перед детьми все сразу, без всякой пользы. Дети читают мало, на каникулы дала задание прочесть «Разгром» в 10-м классе, и из 13 человек прочитал роман лишь один. А в 9-м классе из 14 учеников «Преступление и наказание», «Войну и мир» не прочитал ни один! Ну как тут будешь обнаруживать «в незначительном — значительное, в единичном и частном — общее»? Спросите, помогаю ли шефы. Им не до нас. На ремонт школы не можем изыскать средства. Крыша протекает, погибли наши таблицы и стенды в кабинетах (за

лето). Каждый год у школы так много первоочередных трудно разрешимых проблем, что всем не до книг. Ведь у нас полгода не велась математика в 9-м и 10-м классах. Теперь ведет математику бывшая десятиклассница. Нет в школе историка, трудовика, музыканта. Я лично веду русский язык и литературу в 6, 7, 9, 10-м классах и географию в 6, 7, 9-м классах. Всего имею 27 часов. Скажите: при такой нагрузке возможно творчество? Самообразование? В принципе я могла бы пользоваться районной библиотекой. Но где взять время на поездки в библиотеку и на само чтение? Каждый день до 3—4 часов я в школе. С 4 до 5.30 читаю газеты. Иду в садик за сыном, топлю печку (дрова, кстати, тоже вечная проблема), пошу воду (благо колонка рядом), готовлю ужин, кормлю ребенка и сажусь за планы. Все планы написать я не в силах. Ложусь рано, так как голова все равно ничего не обрабатывает, встаю в 4.30 утра — и снова за стол. Все стирки, ген. уборки — всё до каникул, в воскресенье лишь купая сына и стираю самое необходимое. Кучу дел планирую на каникулы, но, как правило, все каникулы болею, хожу на уколы (восстанавливаю нервную систему и силы, ведь у меня к концу четверти — упадок сил). А тут еще новые «вешья» в педагогике. Директор требует, чтобы писали мы планы по всем современным требованиям, составляли карточки, накапливали дидактический материал, оформляли по-новому (на съёмных стендах) кабинеты. Организатор требует, чтобы мы сдавали красиво оформленные планы внеклассных мероприятий (я ведь классный руководитель в 9-м классе), завуч требует отчеты о работе методобъединения (я руководитель секции предметов гуманитарного цикла), пред. месткома требует посещения уроков коллег и проведения производственных совещаний (я производственный сектор в месткоме). Кроме всего, я агитатор, должна обежать улицу перед выборами, агитировать население... И еще нужно готовиться к семинару по самообразованию (доклад и т. д.). Плюс ко всему — тетради. Да еще эта география, которую некому вести, а я, как самая молодая, «обязана войти в положение...».

Надоело вам все это читать? А мне надоело здесь жить. Вы думаете, это только у нас так? Подобные проблемы стоят перед многими сельскими учителями. У нас мало детей в классах, но учить-то их все равно надо добросовестно. И вот руки опускаются. Все сделать невозможно, а за что взяться в первую очередь? Куда я пойду — не знаю. Я так люблю своих детей. Входишь в класс, разбитая, больная, а они улыбаются навстречу, и забываешь обо всем. Рассказываешь, читаешь, показываешь книги (хоть увидят!), и легче становится на душе. Но это наедине с детьми. Проверяющим нужно показывать «разнообразие методов и приемов». Где их взять, эти методы и приемы, если на класс один роман «Преступление и наказание» и тот прочитан только учителем?! Почти все уроки говорю и читаю я. А это не лучший вариант. Посещают мои уроки чаще всех, так как я одна в этом году подлежу аттестации. Собираются аттестовать меня так: «соответствует занимаемой должности с условием повышения квалификации через курсы усовершенствования». Обидно, ведь каждый отлично знает, что усовершенствоваться в таких условиях почти невозможно.

Вот я и прошу у вас ответа: как мне быть? Может, и в самом деле лучше уехать, ведь многие мои друзья-однокурсники устроились работать на завод, корректорами в редакцию, в детские сады, в Дома пионеров. Может, и мне?.. Я читала о вас в «Комсомольской правде», что и Ваш путь к мастерству был очень долгим и

трудным, но мне кажется, что в городе (тем более в Ленинграде) легче добиться мастерства.

Извините, что оторвала у Вас столько времени. Я вот сейчас сама не знаю, за что мне хвататься. Пожалуйста, если это Вас не сильно затруднит, напишите мне, как выбраться из трудной ситуации. Извините за почерк, переписывать письмо некогда, так что простите за литературное несовершенство. И еще боюсь, что письмо до Вас не дойдет. Адреса-то не знаю. И все же надеюсь. Очень!

С уважением К.Л.И. 1980 г.

Несколько мгновений стояла тишина. Та редкая, глухая, какую в человеческом сердце рождает сопереживание. Минута, другая — и в каждой из тридцати дружно поднятых рук я увидел протянутую руку помощи. Не остался безучастным и директор. Евгения Александровна говорила о том, как приходилось работать ей, начинающей учительнице географии, в трудные послевоенные годы. Кто-то из ребят рассказал о своей матери — тоже учительнице, о том, как справляется она с трудностями профессии. Все вместе мы размышляли о том, в чем искать опору и силы, когда твои личные и внешние обстоятельства складываются не лучшим образом. Наконец, как быть учителем самого себя. Ведь с этого начинается школа.

Уже не я давал ребятам задание, а они мне: написать ответ, не упустив ничего из сказанного. Насколько удачен он, судить будет класс. Я привожу здесь ответ, потому, что в нем, по существу, стенограмма того урока, отражение мыслей ребят, их гражданской зрелости.

Дорогая Л. И.!

Прежде чем дать совет, позвольте, невзирая на Ваши жалобы и сомнения, склониться перед Вашим мужеством. И — возмутиться! Недомослим, душевной слепотой тех, кто обязан, но не умеет или неспособен помочь учителю.

А теперь о главном. Вы правы, дело не в оснащении кабинета и не в технических средствах. Можно и без них дать яркий и умный урок, а в прекрасно оборудованном классе ни на шаг не продвигнуться в духовном развитии. Вас тревожит недостаток мастерства, гложет совесть, что ребятам даете «ничтожные крохи». Ну а кого это не тревожит? Порой кажется, не Есенин, а ты написал строчки, в которых отчаянный крик души: «Ведь я мог дать не то, что дал...» Чем дольше и лучше работаешь с ребятами, тем острее чувство недовольственности, от неделанного, незавершенного и вовсе даже не начатого. И огорчает, и радует это. Радует, потому что не оставил, не успокоился, а огорчает, потому что тем, кто учился раньше, не дал того, что щедро даришь сегодняшним. Впрочем, работа наша тем и интересна, что никогда не бывает сделана. И однако любой ценой добивайтесь успеха! Только он снимает с наших

плеч груз усталости. Но как это не просто! Истинное мастерство — когда видят улыбку и не замечают пота. А мне то и дело приходится на уроке вытирать лоб.

Независимо от выводов официальной аттестации фактически Вы уже аттестованы как учитель добрый, приветливыми улыбками ребят, их любовью. Подойдите же к ним еще ближе, и не будет сомнений: уходить или не уходить из школы? В свое время и я работал в деревне. Ребята там — удивительные! Они горят желанием помочь учителю. И Ваши ученики, наверное, могут и дрова заготовить, и отвести в садик Вашего сына и привести домой. Я, к примеру, вместе с ребятами проверяю тетради, и нудная работа становится творческой. Не переключать на учеников свои дела, а привлекать к сотрудничеству, помогая их человеческому росту. Это необходимо им не меньше, чем нам. Мои ребята сами делают и оформляют стенды, проводят (без учителя!) внеклассные мероприятия и т. д. Не будь всего этого, уверяю, мое положение оказалось бы не многим лучше Вашего. Такова уж профессия! Дети — не только цель и смысл нашего с Вами дела, но и главная наша опора. Насколько приблизимся к ним, настолько будет легче и радостнее жить и работать. Не нужно умиляться ребятами, с ними надо трудиться — не рядом, а вместе. Тогда они не только станут «улыбаться навстречу», но и пойдут нам навстречу. Во всем! По опыту знаю, сколь мудры и отзывчивы дети, когда им даришь право быть равными тебе.

Еще три месяца до последнего звонка, а у меня уже приговорено напутственное слово, составленное из кусочков сочинений учеников. Буду цитировать их мысли, называть имена. Безоглядная (!) вера в ребят — великое дело. Акцентирую слово потому, что учился этому... у Андрея Болконского. Помните Аустерлицкое сражение? Подхватив знамя, князь Андрей бросился на французов не оглядываясь, т. е. не сомневаясь, побегут за ним или нет панически отступавшие солдаты. Побежали! Сперва один, другой, а там и весь батальон... Вот так бы и нам увлекать высоким идеалом, держа в руках книгу, как Болконский знамя. Если веришь им, как себе, пойдут и даже побегут за тобой, а если нет, будут приветливо улыбаться и — сидеть. Каждый миг работы наполните безоглядной верой в ученика!

Вас огорчает, что они мало читают. Что ж, и это мне знакомо — телепоколение! А теперь положи на сердце руку и ответьте: много ли читаете Вы? Вот то-то. А ведь у ребят забот не меньше, чем у нас. Подсчитайте: сколько каждый из них за день обязан «выучить», «решить», «начертить», «перевести»... До книг ли? И все же — читают! Потому-то Вы и дороги ученикам, что умеете не за них, а вместе с ними и не для урока, а для них, как это делают истинные педагоги, прочитать книгу в классе. Активно слушающий — по-своему тоже читающий. Не спрашиваю у ребят, что и сколько они читают. Главное — как. А это зависит и от нашего умения читать. А если «Преступление и наказание» начинать с «наказания» за непрочитанную книгу, то вот и «преступление» — нежелание читать: ни сейчас, ни потом. «Ярем он барщины старинной оброком легким заменил», — в шутку говорят обо мне ребята, вспоминая Онегина. И это действительно так: без упреков и наказаний изучаем классику. Ближайшая цель урока — научить тому, что любишь и умеешь сам. Вы любите и умеете увлекать книгой, вот и делайте это. Как грибы после дождя, вокруг нас вырастает читатели. Не позволяйте себе того, чем я однажды (по молодости!), мягко говоря, удивил

себя и ребят. Всего лишь несколько учеников из класса прочитали книгу, которую собирался комментировать. Я гордо предложил этим «нескольким» вместе со мной выйти в коридор и там поговорить о книге, которую прочитали. Думал, что накажу класс, а на самом деле чуть не испортил отношений с ребятами.

Что же касается современных «методов и приемов», то на этот счет скажу: главные наши методы — человечность и справедливость.

Да, учителю обязаны помогать. Но кто первый? Древние говорили: человек, помоги себе сам! Работать в школе (!) без этой мудрости невозможно. Не слишком ли, милая коллега, Вы «вошли в положение»? От географии можно и отказаться. С бедой многих сельских школ — совмещать разные дисциплины в работе одного учителя — считается надо, но и бороться — тоже! Если бывшая десятиклассница ведет математику, то, возможно, кто-то другой из выпускников сможет учить и географию... Вырастайте в Учителя, а не становитесь безотказной лошадкой, какая однажды приснилась Раскольникову: на нее столько наслело, что ей, бедняге, не сдвинуться с места. Напрягаясь изо всех сил, она старание выдает за движение, а его-то и нет.

Что всего труднее дается? Простое, очевидное. Начните свой рабочий день не с «планов», а с небольшой физической зарядки. Делайте это с таким же упорством, с каким достаете книги. Поверьте: многое прояснится и образует, на многое посмотрите иначе, трезвее, и прежде на школьные планы, если они рушат жизненные. Вы, как и всякий словесник, впечатлительны, эмоциональны. Пусть же Вам и отдохнуть помогут «образы». По пути домой вообразите полный мешок с зерном, опрокиньте и слегка развяжите: пусть медленно высыпается все зерно. Побудьте две-три минуты «пустым мешком». Вот и отдых!

Когда рядом сынишка, а тем более когда купаете его, запретите всякие недобрые мысли. И сразу почувствуете, что есть, есть на земле существо, которое вместе с заботами и хлопотами о нем несет своей усталой маме и целительное отдохновение. Нельзя ни на минуту ослаблять эту связь — уставать душой рядом с собственным сыном. Не бойтесь о многом «посоветоваться» с ним. Дело не в том, чем он ответит Вам, важно, что скажете Вы, обращаясь к нему. Этот «диалог» будет необходимым духовным общением с сыном, общением, которого, кстати, так не хватает многим мамам-учителям.

В письме ни слова о том, как проводите отпуск. А ведь он у нас немалый. Тут на многое времени хватит, и прежде всего на самое главное — оглянуться: то ли, так ли делал, тем ли путем шел? Может, иначе надо? Может, поискать нехоженых дорог, изменить «методику» своего урока и своей жизни? Мастерству у тех, кто пишет или говорит о школе, не работая в ней, не научишься. Учиться надо у практика, а лучше у себя: откроется еще больше, чем на курсах усовершенствования...

Что и говорить, Вас постигла горчайшая беда — смерть мужа и отца ребенка. Искренне сочувствую Вашему горю. Полагаю, с головой ушли тогда в работу, и правильно. Жаль, что коллеги Ваши оказались не слишком чуткими. Временный, вынужденный пик нагрузок восприняли, очевидно, как некую норму: дескать, не отказывается, давай еще. И вот он, предел, дальше которого нельзя. Потому-то и возникла мыслишка: бросить всё и... Хуже — не будет! А может, будет? Вы же добились победы, которой позавидует даже опытный мастер: Ваши ребята пойдут в педвуз, станут учителями.

Так что не Вам совета спрашивать, а скорее у Вас надо поучиться. Я всерьез, без кокетства. Есть, есть во всем Вашем милом облике, в бесхитростной, открытой интонации письма что-то подкупающее, доброе, человечье. Нагрузите-ка себя по-настоящему ребятами, с ними решайте свои и их проблемы. Пусть их и Ваша судьба не очень завясят от четвертого (!) директора школы, двадцать первого заведующего клубом и даже от директора совхоза, у которого падеж скота... Люди ведь тоже не должны падать... Больше инициативы — безвыходных положений нет! Чувствуйте себя личностью, духовным преобразователем села, той первой учительницей, прощаясь с которой на последнем школьном уроке ребята вдруг прозревают: как много сделано для них этим уставшим, но таким же, как и они, счастливейшим в эту минуту человеком.

Мы желаем Вам мудрости и счастья трудных дорог!

Я и мои ученики. Ленинград. 1980 г.

Не шелохнувшись сидели ребята. Все вместе мы выводили из тупика обстоятельств неизвестную нам сельскую учительницу. В письме я исповедовался в любви к своим ученикам, которые не раз выручали меня, открывал некоторые секреты педагогики тем, кто свою жизнь навсегда свяжет со школой. И все вместе мы учились мужеству, мудрости, достоинству. По реакции класса понял, что с заданием справился. Те несколько минут, когда я читал свой, а вернее, наш ответ, помогли мне в иной интонации начать и урок о Толстом, а ребятам — полнее ощутить гуманизм великого художника, чуткость его совести.

«ОБЩАЯ ТЕТРАДЬ» УРОКА

Школьное сочинение... В методической литературе с десятком определений, каким оно бывает: тренировочным, проверочным, итоговым, контрольным... Но бывает оно и вспомогательным, подсобным, когда начать новый разговор еще важнее, чем продолжить и закрепить уже состоявшийся.

«Какие особо важные мысли (учебника, монографии, популярной брошюры и т. д.), к сожалению, не прозвучали на уроке?» Таким вопросом закончил я однажды первый из двух уроков по биографии М. Горького, предложив ответить на него в сочинении. Собственно, биографии как таковой (с вехами, датами, периодами жизни и творчества) в моем рассказе не было. Было эмоциональное слово о писателе. В основу положил мысль самого М. Горького о том, что человеку в двух вещах нельзя отказывать: в хлебе и книге. Остальное, а точнее многое, пусть доскажут ребята в своих письменных миниатюрах. Условие: каждый находит и аргументирует

свою «особо важную» — и только одну! — мысль, обязательную для биографии этого писателя.

Раскрывая мысль М. Горького, я больше всего говорил о книге.

— В детстве книги «шептали» Алеше, что он не одинок и не пропадет. А маленькая «странная» библиотечка повара Смурого, легко уместившаяся в сундуке? Будто не его крышку, а некую таинственную дверь в прекрасный, неведомый мир добра, чудес и фантазии открывал по вечерам Алеша Пешков! Книга привела его, бездомного бродягу, и к стенам Казанского университета. Не станем слишком огорчаться, что будущий писатель не оказался в числе его студентов. Не Пешков, а Максим Горький нужен был истории! Предстояло пройти иные университеты. И вот он, самый-самый первый рассказ... Стоп! О чем, про что? Ведь подписан он псевдонимом, ставшим вторым, а по сути первым именем. Нет, не о «свинцовых мерзостях» жизни, что толкнули однажды писателя к самоубийству, говорится в нем. Наоборот. Пусть прольется некий бальзам от первых и до последних строчек на уставшие души и в причудливых коллизиях художественного вымысла читатель увидит то прекрасное, что есть в жизни. Многие герои М. Горького относятся к книге так же, как и он сам, — с любовью и благодарностью. Ниловна («Мать»), прежде чем спросить у сына, какие книги он читает, «чисто вымыла руки». Зачем? Прикасаться к книге, даже мысленно, надо чистыми руками. И — чистой душой. Ведь еще и так можно истолковать наивную «детскость» сорокалетней женщины. А вот в доме Власовых обыск. «Офицер быстро хватал книги тонкими пальцами белой руки, перелистывал их, встряхивал и ловким движением кисти отбрасывал в сторону. Порою книга мягко шлепалась на пол». «Хватал», «встряхивал», «отбрасывал»... Тут-то и прозвучал голос Николая Весовщикова, а по сути самого Горького: «Солдат!.. Подними книги...» Видно, столько отчаянной решимости было в словах и голосе Николая, что жандарму ничего не оставалось, как поднять книгу. Когда Горький хочет убедить нас, что Барон («На дне») действительно «хуже всех», он заставляет его глумиться над книгой, которую читает Настя. Кстати, она единственная из героев подвала, кому писатель дает книгу. Случайно ли?

В такой примерно интонации шел урок. Оживали и как бы вместе сходились связанные отношением к книге

герои М. Горького, среди которых был и сам автор. Жанр (слово о писателе) внутренне оправдывал необходимость лирических отступлений.

— Как мы, сегодняшние, относимся к книге? По цене или ценности, нарядным корешкам или тем корням, что связывают ее с культурой человечества, выбираем и саму книгу, и место для нее на книжной полке? Не попадает ли иной раз в макулатуру книга, лишь по обложке устаревшая? И вообще — не стала ли она вещью, утратившей живую «душу»? Атрибутом той мнимо современной обстановки, где важна не сама книга, а непременно «полное собрание». «Избранное» — не впечатляет. Книги в ином доме — для гостей: смотри, даже потрогай, а вот читай — свою. Угостят чем угодно, только не книгой! Сами себе отказывают в ней, чего уж тут. Кстати, когда книгу не жалко дать? Когда она прочитана, т. е. в тебе самом, а не на полке.

Закончился первый урок — эмоциональный, за ним последует второй — познавательный. Интригующее «к сожалению» побуждало перебрать литературу об М. Горьком. Всего знать, конечно, невозможно. Но ведь есть, наверное, что-то такое, без чего никак нельзя. Что именно? Узнавая, без чего нельзя, ребята запомнят и другие сведения. В совокупности это уже будет знание основательное, достаточное во всяком случае.

На моем учительском столе более тридцати двойных листов, со сносками и ссылками, досказывающими прежний, а на самом деле творящими новый урок. Перед самой кончиной М. Горький, оказывается, читал книгу Е. Тарле «Наполеон». Что ж, и впрямь «особая» мысль. Кто-то из ребят справедливо упрекнул, что в слове о писателе нельзя было обойти его высказывание о том, что «книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес, сотворенных человечеством». Правда, слова эти есть в учебнике. Но они не раскрыты. Раскрыть — задача урока. По мере сил и возможностей ученик выполнил то, что, по его мнению, обязан был сделать я, но, к сожалению... А вот этот листок (обилие кавычек!) фиксирует упущение иного порядка. Первый рассказ М. Горького «Макар Чудра» появился в 1892 году. Сорок четыре года продолжалась литературная деятельность писателя. Но во сколько раз количество написанных им произведений превышает эту цифру! Какие из них отнесем к числу лучших в наследии самого М. Горького? В советской классике? В мировой? Наверное, это

тоже «особо важная» мысль: обозначить двумя цифрами не только жизненный, но и творческий итог. Еще упрек. Десятилетний Пешков, как известно, пошел «в люди». Эти люди выведены в творчестве Горького. О них, как и о книгах, тоже надо рассказать, иначе биография будет неполная.

Так, читая вслух и комментируя каждое сочинение, я аккуратно и бережно складывал стопкой **развернутые** листы, на которых были и мои пометки, иногда целые вписанные абзацы, как это нередко делал М. Горький, работая с молодыми писателями. На виду у класса скрепленная учительской мысль рождалась **общая тетрадь** урока — второго из тринадцати отведенных на изучение жизни и творчества М. Горького.

Обычно за домашним или классным сочинением следует урок разбора, а точнее, разноса. Но школьное сочинение, когда оно свободное, творческое, дает повод к иному разговору. В ученических листках, то щедро исписанных, то едва выжавших норму, а то и вовсе не дотянувших до нее, — истоки многих новых уроков. Самых разнообразных по тематике. Внимательно читаю сочинения ребят и в сложной полифонии их голосов стараюсь обязательно услышать особое звучание каждого.

ТОПОЛЯ, ТОПОЛЯ...

«Как написали?» — спрашивают, когда вхожу в учительскую с листками школьных сочинений. Иногда отвечаю: «Плохо! «Пятерок» и «четверок» много, а вот «урока» — ни одного». Никто из ребят на этот раз не подарил идеи. Такой, чтобы, ухватившись за нее, начать необходимый для всех разговор. Но чаще — дарят.

Выбор профессии — выбор себя, своей судьбы. «Не ошибись, выбирая...» Каждый год мои десятиклассники пишут сочинение на эту тему.

— Всюду читаем объявления: требуются, требуются. Но есть работа, которая требует только тебя! Найди ее. Выбирай на вкус, если он есть и если твой, а не чей-то.

Тревожит соотношение «ученика» и «человека» на переломе весны к лету... Последняя школьная весна! Стоя у окна спиной к классу, смотрю на тополя, что высажены вокруг школы. На каждом пробиваются к свету из клейких, набухших почек зеленые листики. И мысли мои — о корневой системе деревьев и человека. Что взойдет на моей учительской ниве, по которой иду, не угаи-

вая в закромах души ни одного драгоценного зернышка? Ускорил духовное созревание своих учеников или только научил грамотно и умело писать «на тему»? А в окна, о чем-то перешептываясь, с любопытством заглядывают тополя. И вот передо мной исписанные страницы последних школьных откровений.

«Как подумаешь: всю жизнь одно и то же, одну и ту же операцию делать — в дрожь бросает. Буду искать разнообразную работу, чтобы не было скучно...»

— Нет, вряд ли удастся найти такую работу, где бы отсутствовало «одно и то же». Это обязательно есть в любой профессии. Но «одно и то же» можно делать по-разному, совершенствуя дело и себя. Разнообразная работа — что это значит? Халат врача, спецовка рабочего, фартук продавца... — атрибуты скучной или разнообразной работы?

Так в шелесте тетрадных и тополиных листков родился новый урок, а затем и общешкольный диспут о работе. На литературной и жизненной основе теоретически попробуем «одно и то же» сделать неодинаковым, разнообразным и даже разным.

Безмерны возможности школьного сочинения. С его помощью вот уже много лет делаю своеобразный медосмотр души каждого из ребят. Листы бумаги, бесхитростно исписанные детской рукой, приоткрывают заветное в ученике, не всегда осознанное даже им самим. Они подсказывают замыслы и темы будущих уроков. Вот этот родится, когда подойдем к Некрасову; тот — когда основательно вчитаемся в Л. Толстого; третий лучше всего провести, когда будем изучать Маяковского. Свои тематические планы уже давно составляю с учетом «проблемных вопросов», при чтении сочинений записанных в «общую тетрадь». Чем живет ученик на уроке, за уроком и школой — обо всем так или иначе, рано или поздно расскажут сочинения. Узнать, рассекретить ребят нетрудно. «Запятая в русском языке» — классное (проверочное) сочинение на грамотность. Условие: свои примеры! Какие придут в голову, выискивать не надо, да и некогда. Более 15 правил предстоит подтвердить. На «примерах» сразу виден и ученик, и весь класс в целом, и даже поколение. Тут и магнитофоны, мотоциклы, дискотеки и даже стоимость Чехова на черном рынке... в зависимости от оформления. У кого-то новенький сервант заслонил старого Сервантеса холодным блеском полированного (с разводами) дерева. А здесь — целый универмаг вещей

с вожделенными импортными этикетками. Но вот и совсем другое: утешительное. Сколько листков — столько и аспектов одного и разных уроков. Столько и возможностей не только в учебном, но и в нравственном смысле повлиять на ученика. Вспыхивают сигнальные огни в текстах знакомых книг. Страницы, абзацы, строфы спастительно приходят на память.

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас...

Духовность пушкинской героини, в своих «странных» запросах отвергающей ветошь и мишуру аристократической среды, пышность и блеск «модного дома», полка книг, при чтении которых впервые в мечтах и грезах «явился» ей Онегин, и те «места», где она увидела его в яви, — вот истинное богатство живой, любящей души, мир особых и по-особенному значимых ценностей. Не сказать об этом уже нельзя. Новым фрагментом старого урока или новым уроком.

В КОГО ВЫРАСТАТЬ?

Коснемся еще одного насущного вопроса: почему ребята, как правило, не любят писать сочинения, хотя мы и учим их этому? Но так ли и тому ли учим? Вот ученик пишет сочинение о Гоголе. Вроде и план составлен, и цитаты под рукой, и тема увлекает, а ничего путного не получается. Правда, сам Гоголь работал при свече, стоя за конторкой, то тихо, то громко что-то нашептывая, а иногда и вовсе как истый актер начинал играть и все до мелочей записывал. Но главное, пожалуй, не в этом. В каждый миг творчества он почти зримо видел перед собой Пушкина. Все, что «примет» он, — останется; сомнительное, отвергнутое — уйдет. Так рядом с Пушкиным, окрыленный его гением, выросал Гоголь. В кого конкретно вырастает сегодняшний школьник, когда садится писать сочинение? К кому приближается по зыбким ступенькам строчек? Чей лик как строгого судьи видит перед собой?

Умеет ли найти и осознать свой «почерк», выразить свою индивидуальность? Ведь никакие рецепты и рекомендации не помогут, если не учтены и не использованы особенности собственной личности. Наконец, имеет ли ученик право на творческую неудачу или непременно должен выдать «отличный» результат, да еще и окончательный? Эти и другие проблемы методика не решила. Плани, логике, цитированию учит, творчеству — нет. Почему домашние сочинения для ребят желаннее классных, хотя, откровенно, те и другие эмоций не вызывают? Ответ прост: в домашней, непринужденной обстановке легче найти свой способ работы. Известно, что А. Гайдар любил «вышагивать» фразы, а потом целыми кусками, озвученными блоками по памяти записывал текст. Так же работал и Маяковский. А Л. Толстому необходима была тишина той «комнаты под сводами», в которой рождалась его шедевры.

Стоит заговорить с ребятами об этом, и сразу у них появляется интерес к сложнейшей проблеме психологии творчества. И еще. Думаю, нет и не может быть «образцовых» сочинений для всех. Как ни старался тот же Гоголь приблизиться к Пушкину, в действительности уходил от него, становясь Гоголем. Дерзаю привести сравнение с великими, дабы высветить его суть: всякий из нас, в том числе и школьник, лишь тогда обретает себя, когда нарушает «норму». Нет, я совсем не против рекомендаций. Правило нужно знать, чтобы оценить отклонение от него. Более того, хочу видеть синтез двух взаимоисключающих пособий: «Как писать сочинение?» и «Как делать стихи?». В известной статье Маяковского раскрыты многие общие аспекты творчества. Идея о необходимости заготовок, своеобразных поэтических блоков, метких деталей и прочих компонентов фактуры художественного произведения представляет интерес не только для поэтов. В немалой степени и для учителей-словесников и их подопечных. Урок литературы, устный ответ, сочинение строить надо, повторю еще раз, по законам искусства. Маяковский вряд ли написал бы свой знаменитый «Левый марш» буквально за какие-то полчаса, не окажись под рукой записной книжки. Опыт показывает: ни одно школьное сочинение, даже из числа «золотых», не было и не могло быть удачным без предварительных заготовок. Приобщить школьника к их производству, — значит, открыть резервы для настоящего творчества.

Урок-сочинение, с которым хочу познакомить читателя, родился давно и имеет свои странности. Одна из них: Н да К — выйдет наверняка! Мои ребята знают, что это такое: два коренных условия, от которых зависит успех сочинения: неповторимость и конкретность. Разрешаю, например, ученику использовать любые источники знаний. Хочется заглянуть в учебник, что-то процитировать — пожалуйста. Только сделай сноску, а саму цитату органично вклочи в заготовленный блок. Соотношение цитаты и раздумий определит уровень мастерства. Не степень самостоятельности, а мастерства. Оно-то и заставит быть самостоятельным. Возразят: с цитатой могут и целые страницы списать. Разрешаю и это. Но предупреждаю: списывать — творчески! Присваивать и делать своим не одно и то же. Чужая мысль должна быть продолжена и ярко выражена. Многие тут же отказываются от списывания. Слишком уж хлопотно. Свое обходится «дешевле». Хочешь писать стоя, как Гоголь, или вышагивать, как Маяковский, Гайдар, — изволь. «Гоголю» разрешаю работать в классе, а «Маяковский» и «Гайдар» должны выйти в коридор. Любишь что-то нашептывать себе, поискать интонацию — садись на заднюю парту... спиной к учителю. Не рассержусь, потому что понимаю. Могу и совсем уйти из класса, тогда и поворачиваться не надо. «Тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу» стало принципом озвучивания письменного слова и еще одним шагом к мастерству. После какой-нибудь особо удачной мысли Л. Толстому, к примеру, от радости тотчас хотелось встать, но он удерживал себя, чтобы счастливой минутой не испортить дня. Постараемся и мы подражать Толстому и чуть сдержаннее выражать эмоции. Садясь за письменный стол, Чехов нередко ограничивался стаканом куриного бульона, хотя, как врач, знал, сколь необходимо ему, легочному больному, обильное питание. Но впроголодь лучше работалось! Не помогут ли эти «знания» о Чехове и ребятам в нелегком поединке с бумагой? Кстати, как насчет музыки? Многим она очень помогала. Может, вместе с темой выберем и мелодию? Тогда любителю толстовской тишины, если таковой объявится, придется поработать дома. Чем занимаюсь я, когда ребята пишут сочинения? Обычно тоже пишу — свое педагогическое, но не за столом, а за чьей-то партией. Творческих «страшностей» у меня еще больше, чем у ребят. И не люблю, когда на меня, пишущего, кто-то смотрит. Уважая свою «чуждинку»,

так же бережно отношусь и к достоинству ученика. Не наблюдаю за ребятами, как постовой милиционер за прохожими, а вместе с ними работаю в общей мастерской. Хочешь о чем-то посоветоваться, подойди — как рабочий к мастеру. Тут же и помощь окажу. В борьбе за качество простоев быть не должно. Иногда подойду, спрошу ненароком: кого видишь? Или: в кого вырастаете? Ребята понимают, о чем речь, и называют кумира. Нередко им оказывается одноклассник.

Если взглянуть со стороны, то и впрямь класс чем-то напоминает производственный цех, где, однако, выполняют сугубо индивидуальные операции. Кто-то остается сверхурочно, ибо не укладывается, иной берет работу на дом. «Уложиться» не самое главное. Нужна качественная, а не формальная точка. В искусстве слова в конце может быть и многоточие. Не оцарапать чью-то душу торопливым стремлением к результату — это заботит. Мои девятиклассники, к примеру, не раз дописывали контрольные (!) сочинения (требующие нелегких откровений, а потому и особого, профессионального умения) уже в десятом классе. Но что ж тут такого? А. Грин 44 раза переделывал начало «Бегущей по волнам». Почему бы и школьнику не дать ту же радость? Здесь и особые для каждого расценки. Чтобы выполнить план, кому-то достаточно написать пол-листа, а иной и целый тетрадь не вытянет своей нормы. Любишь репортажи — выдай по всем правилам. Хочешь написать обличительное письмо, подобно Беллинскому, — найди своего «Гоголя» и выскажи все, что думаешь. Нравится публицистический этюд, статья — и это можно. Какой жанр ближе, роднее, понятнее — тем и пользуйся. Накипело на душе, попробуй быть... Лермонтовым: скажи о Пушкине стихами. Но жанры и прочее требуют особой тематики, которую нужно иногда найти не в учебнике, а в жизни. «Сценки из школьной жизни, которые я бы хотел увидеть в кино». Это сочинение — заказ Ленинградского телевидения, которое однажды обратилось к моим ребятам за творческой помощью. Почаще бы давать школьникам такие вот сочинения-заказы из разных сфер жизни. Тогда и сами ребята духовно, творчески взрослеют быстрее. Приобщить школьника к социально полезному литературному производству — в этом вижу основу трудового и нравственного воспитания на уроках литературы.

НАЙТИ ГЛАВНОЕ

Много лет назад, когда преподавал в сельской школе, пришлось замещать учительницу в восьмом классе. Отставание по программе — невероятное, хотя до экзаменов буквально считанные дни. А впереди — не «начатые» Лермонтов, Гоголь... Главное, и сам-то загружен до предела. В то время молодые специалисты неохотно ехали в деревню. Бывали случаи, когда оставляли школу... в середине года. Прикинул так, эдак, на «Героя нашего времени» — всего один час. С какого конца взяться? Едва не с десятком вариантов пошел на урок, вернее, поехал на попутной машине. Но для любого из них времени все равно не хватало. Утешало только, что ребята (по просьбе директора) роман прочитали. Чего, кажется, проще — раскрыть две-три или даже несколько проблем через знакомую, увлекательную фабулу. Но хотелось помимо учебных решить и нравственно-эстетические задачи. Когда многого хочешь, полезно иногда ограничиться малым.

— Что в конце концов главное в романе? Дневники Печорина! А в любом дневнике, коль его долго и честно пишешь, всегда найдется одна (!) заветная мысль. Поищем.

Вот так вопреки множеству «заготовок» и начал урок. Наверное, вспомнил собственные дневники, а всего вернее — толстовские, которые читал накануне. А может, ни те и ни другие, а только печоринские. Сообща, хоть и в отдельности, искали эту заветную, единственную мысль. Затихли, когда я прочитал мою строчку в дневниках Печорина: «И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец!.. И то и другое будет ложно».

— Так пишет Печорин накануне дуэли с Грушницким. Кто же он — герой того времени? Вот и разберемся. Ни то и ни другое и в то же время и то и другое.

Стали искать в нем «доброе малое». Впервые, быть может, тогда увидел я в классе столько же поднятых рук, сколько было учеников. Но обо всем не скажешь — решили прокомментировать дуэль. Тут задействованы многие герои (помимо Печорина и Грушницкого, доктор Вернер и женщины: Мери, послужившая поводом к дуэли, Вера, от которой, вернувшись домой, Печорин по-

лучает письмо; в драгунском капитане, секунданте Грушницкого, и его компании так или иначе представлено «водяное» общество). По ходу анализа — о каждом лаконичное слово, но — в связи с Печориным. Дуэль к тому же одна из самых ярких сцен, в которой раскрывается и сам «герой»: в трагической обреченности не утративший достоинства и благородства. Читаю: «...я чувствую, что мы когда-нибудь с ним (Грушницким. — Е. И.) столкнемся на узкой дорожке...»

— Эту фразу, заметьте, Печорин записал в дневнике еще до того, как на водах появилась Мери. Значит, не любовная интрига свела их на вершине отвесной скалы. В позере и фронте Грушницком он видит «представителя» того общества, к которому, увы, и сам принадлежит. Кстати, подумайте: почему Печорин снял квартиру не в центре, а на краю города? Итак: мелкая, пустая интрига и в то же время глубокая человеческая драма ведут его к «узкой» дорожке, а в общем, к тупику. Вот как видится ему утренний пейзаж в ту роковую минуту, когда опасность не сойти, а упасть со скалы так велика. Напрасно его взор «старался проникнуть в дымную даль» ущелья. Все «уже» становилась эта «даль» и, наконец, стала «непроницаемой стеной». Не предсказывает ли природа (ощущением самого Печорина) всю безысходность его положения? Но близкая «стена» пока отодвинута — весьма даже острыми событиями. Трагичен финал дуэли-«комедии», в которой Печорин в одно и то же время и зритель, и действующее лицо, и даже постановщик: «Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва». Это все, что остается от щегольства Грушницкого. Метивший попасть в герои, он очутился в пропасти. Какой особый оттенок вносит в контекст устаревшее слово «прах», употребленное здесь вместо обычного *пыль*? В конце главы Печорин появляется в доме Мери, чтобы вызвать к себе «презрение»: единственное, что поможет влюбленной княжне. «Мерзавцы», наверное, так себя не ведут. Но и «добрые малье» — тоже. Между прочим, на досуге, оцените поведение Вернера до, в момент и после дуэли. Печорину или ему посочувствуем? Отчего не с Вернером, а с Верой вдруг захотелось ему объясниться и в погоне за ней он становится виновником еще одной жертвы? Поразмышляйте и над другим: в тот вечер Печорин «заснул сном Наполеона после Ватерлоо». Почему в оценке героя так важен этот штрих?

С той же активностью, но, быть может, с меньшим

энтузиазмом аргументировали ребята и негативное в Печорине. Коснулись глав «Бэла», «Максим Максимыч». Как азиат (пусть не своими руками, что, пожалуй, еще хуже), он украл у Казбича лошадь и выменял на нее Бэлу. Одного этого достаточно, чтобы... А последняя встреча Печорина с Максимом Максимычем? Вместо дружеских объятий — холодное рукопожатие. За долгую жизнь никто еще так не обижал штабс-капитана. Впрочем, Печорин холоден и к себе: «спешит», не зная куда и зачем, и не уверен, вернется ли. Не всё, оказывается, так просто. Но класс прошел мимо одной важной детали. При скрытности характера, личном достоинстве Печорина, чем объяснить его безразличие к собственным дневникам, которые хранит Максим Максимыч? «Что мне с ними делать? — спрашивает штабс-капитан и слышит в ответ: «Что хотите!» Не он ли, Печорин, писал, что дневник со временем будет для него «драгоценным воспоминанием»? А может, ужасным?! Читая его страницы, мы видим тоскующие глаза Бэлы и плачущего слепого мальчика; скорбное лицо все понимающей Веры и «бледного, как мрамор», любящую и ненавидящую Мери; убитого Грушницкого; умный, укоризненный взгляд доктора Вернера... Вряд ли такие воспоминания могут быть драгоценными. Разве что для мерзавца? Отказ Печорина от дневника, очевидно, последнее движение его доброй натуры и — знак духовной смерти. Некогда «необъятные» нравственные силы растрачены по пустякам. Самый комический из них? Верно. «Вчера» он перекупил ковер, который понравился княжне, а сегодня, «около обеда», накрыв им свою лошадь, не спеша провел ее мимо окон Мери... Остаток дня осмысливал «впечатление», которое произвел. И на это уходят — дни, месяцы. Да что там — жизни! Вот несколько характерных строк из дневника Печорина («Княжна Мери»).

«В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит...»

«...Я употребляю все свои силы на то, чтобы отвлекать ее обожателей...»

«Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор...»

«Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной... Таким образом, мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело...»

«...У него (Грушницкого. — Е. И.) даже появилось

серебряное кольцо с чернью, здешней работы... мелкими буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне... Я утаил свое открытие...»

— Какие слова, по-вашему, звучат здесь иронически, выделяются из общего лексического фона?

Ребята находят и объясняют их. «Дела», «планы», «системы», «открытия» — большие гражданские понятия, свидетельствующие о высоком назначении человека.

— Однако во что обратились они в пустой, ничемной жизни героя, чем наполнились? Поколение Печорина не сумело найти для себя достойного поприща, и автор иронизирует над героем. Более того: поскольку дневники написаны от имени героя, сам Печорин иронизирует над собой. «Я иногда презираю себя», — скажет он о себе. Так вопрос **кто он?** логически вызывает другой: в какое время он жил? Страницы учебника хорошо рассказывают об этом: их стоит внимательно прочитать. А сейчас ограничимся лишь словами Герцена: «Кругом никто и ничто не звало живого человека». А Печорин по-настоящему живой, одаренный, умный. Подтвердим?

Показать в Печорине ум — это обнаружить и свой. Кого не увлечет? В итоге понятно: он герой и жертва своего времени.

— Его трагедия—это трагедия деятельного человека, у которого отсутствует дело. Изнуряющее чувство пустоты, скуки, одиночества толкает его на любые авантюры. «Тамань» — тому классический пример. А язык, которым написана эта глава, изумлял самого Чехова. Вот послушайте, как описана утварь той лачуги, в которой обосновался Печорин...

— Светлое и негативное отражены во всем, даже во внешности героя. Перечитайте снова его портрет. Многим штрихам стоит придать значение. «У него был немного вздернутый нос...» — это, разумеется, ни о чем не говорит. А вот молодежавый вид и морщины, «пересекавшие одна другую», кое-что скажут. Почему портрет героя автор рисует на фоне утра, «свежего и прекрасного», и не в начале романа, а где-то в середине? Отчего сразу же после описания внешности Печорина начинаются его дневники? Противоречия в портрете, возможно, раскроются и углубятся в поступках, раздумьях?

В запасе еще минут пять—десять. Так кто же он? Ответим сначала как умеем. После заглянем в Белинского, Герцена. Самое первое мнение: «загашенный факел». Понятно, откуда оно — из печоринского дневника: «...го-

лова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом него вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении...» Возможно. Но едва ли Печорин сознательно проводил символическую аналогию между собой и факелом. Если Герцен называет Печорина «младшим братом Онегина», значит, они родственные натуры, хотя и живут в разных эпохах. Оценки, приложимые к Онегину, очевидно, во многом характеризуют и Печорина: «умная ненужность», «страдающий эгоист», «эгоист поневоле», «лишний человек». Но Печорин умеет и сам себя оценить. «Нравственный калека», — скажет он о себе.

Еще есть минутка, чтобы коснуться тех «тонкостей», без которых не все ясно. Например, композиции романа. В «Бэле» мы слышим о Печорине; в «Максим Максимыч» видим его; в «Княжне Мери» герой сам о себе говорит. От внешнего психологизма первых глав автор ведет нас к душевным переживаниям героя и дальше — к «Фаталисту», где мы знакомимся уже с философией Печорина.

Но вот и звонок. Разговор о романе продолжит теперь другой учитель — школьный учебник.

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Горчайшая необходимость не часами, а минутами исчерпать «Героя нашего времени» произвела на свет довольно любопытный методический жанр: произведение в одном уроке! Думаю, это оптимальный выход из трудной ситуации, в которую иногда попадаешь. Но возможности самого приема значительно богаче. Сколько книг, подлинно художественных, классических и современных, ныне сиротливо «толпятся» у дверей кабинетов литературы в ожидании своей очереди, которая год от года не уменьшается, а, наоборот, увеличивается! Внеклассное чтение выбирает лишь некоторые из них, остальные «умирают» непрочитанными, становясь достоянием каталогов. Нужен урок, который бы помог расширить круг чтения школьника, освободив часы для других книг. Он потребует иного отношения к учебнику, заданию, дополнительной литературе и т. д. Словесник и учебник, к примеру, часто дублируют друг друга, вместо того чтобы дополнять. Не разграничить ли их функции: живое, творческое, личностное — уроку; информативное, теоретическое и прочее — учебнику? Когда у ребят два учителя: один —

в классе, другой — дома, можно ограничиться и одним уроком! «Остальное — в стихах!» — этими словами, как известно, закончил Есенин свой рассказ о себе. Точно так же должен заканчиваться и урок литературы: остальное — в учебнике. Союз урока и учебника, по существу, и есть желанный сплав двух «ведений»: человеко- и литературоведения. Но прежде чем отослать к учебнику, учитель должен убедиться, что там есть это «остальное» — не как обидная подстраховка, а как углубленное развитие научно-теоретической основы урока, специальных знаний. Об онегинской строфе, сюжетных линиях «Войны и мира», драматургическом мастерстве Горького пусть расскажет не урок, а пособие, но как на уроке! Увлекательно, популярно, интригующе. «Мечта разыскивает путь», — говорил А. Грин. Вот и помечтаем о хорошем учебнике, думая об уроке. Одна моя талантливая коллега заявила однажды: «Учебник — это костыли! А костылями мы не пользуемся». Нет, хороший учебник, который, надеюсь, когда-нибудь будет, не костыли, а ролики, на которых очень даже далеко можно укатиться, разумеется, после урока.

В жанре одноурочного анализа литературного произведения свою особую роль сыграет и система «беспроверочных» заданий: общих, индивидуальных, групповых, ведущих в ширь и глубь темы. Кстати, звучала она так: «Да-с, с большими странностями...» Это слова Максима Максимыча. По ходу урока я несколько раз акцентировал их как некую загадочную формулу, которую постепенно раскрывал. Цитатная тема, впрочем, имела и другую цель: сразу (!) начать с текста, ибо сколько его будет — таков и эффект урока. Приходится дорожить каждой минутой и каждой строчкой, способной сказать многое.

«Беспроверочные» задания вовсе не основаны на полном доверии к ученику. Кто-то наверняка не станет утруждать себя домашней работой. Тем не менее как органичная часть урока задание-вопрос исподволь будет тревожить, мысленно возвращать к уроку в поисках ответа, хотя бы частичного, приблизительного. Безусловно, какие-то аспекты задания будут проверены. Касается это в первую очередь учебника, в котором, между прочим, хотелось бы видеть и раздел, к каким именно страницам текста, абзацам критической, дополнительной и прочей литературы мог бы обратиться школьник, досказывая урок.

Еще проблема. Спорная, но имеющая отношение к жанру. Как практик, убежден: полноценно воспринимать книгу — не значит изучать ее полностью, досконально, во всех строчках. И это отнюдь не голос человека, которому по каким-то причинам не удастся, скажем условно, инструментарий. Напротив, «опасался я без крыл парить», скажу строкой Пушкина. Филфак Ленинградского университета заканчивал в ту пору, когда еще не было ориентации на школу, и филологическое знание увлекало как основное. Недостатка в профессиональном инструментарии, таким образом, не ощущал. Но не с ним, однако, пришел в школу. Не с него начал и не к нему шел, а, наоборот, уходил от него. Много ли нужно специальных «инструментов», чтобы, общаясь с книгой, выполнить сложнейшие духовные операции? Мастерство не в наборе средств, а в умении пользоваться тем, к чему лежит душа, что органично работает в твоих руках. Выборочное средство, а иной раз и никакого — вот мой инструментарий. Вспоминаю Тихона Щербатого («Война и мир»). Обыкновенным топором бог знает какие фигуры выделял! А неудавшийся живописец Вронский («Анна Каренина»), имея богатейшую палитру красок и набор всевозможных кистей, так и не смог оживить на полотне образ любимой женщины. Многие мои коллеги-филологи, подобно Вронскому, точно так же живописуют и образы литературных героев. Дело не в палитре, инструментарии, а в умелой руке! Коли нет ее, то, чем богаче инструментарий, тем очевиднее просчет. Не у Вронского, а у Тихона Щербатого учился и учусь мастерству ведения урока.

С той далекой поры, когда отважился заключить «Героя...» в рамки одного урока, не раз уже сознательно, а не вынужденно пробую тем же способом раскрывать и другие произведения. Так, одним уроком (вместо двух-трех) даю пьесу «На дне», комментируя песню, которую поют ночлежники, текстом всей драмы. В ином ключе, но тем же принципом осваиваю поэмы Маяковского, современную прозу, некоторые обзорные темы и т. д.

Система уроков или урок — проблема, конечно, спорная. Но согласитесь, двадцать два часа на Л. Толстого — не во вред ли Толстому? Бывает, что десять часов идут к нему, а двенадцать от него. В итоге — уже некая отрицательная величина. Поневоле задумаешься: сколько (!) идти к писателю?

УВЯЗКА РАЗРЫВОМ

Ни один из элементов школьного литературного образования выпасть не должен. Но... Как бы ни были значительны и безупречны увязки образовательного с нравственным, то и другое все-таки представлено половинками. Даже на самых лучших уроках ощущал это. Некое двойственное чувство обретений и потерь не оставляло многие годы. Да, увязка — единственный способ поднять оба уровня сразу: учебное окрылить нравственным, а нравственному, чтобы не оседало, дать фундамент образовательного. Но не мелко ли подчас трактуем саму увязку? Почему непременно и только синхронностью учебного и воспитательного может и должна быть выражена она? Неужели нет иных структур? Вот тут-то и пришла идея. Если урок и задание понимать как единое целое, то увязка может быть выражена и разрывом: воспитательное — уроку; образовательное — заданию. Решил попробовать, и — возник новый урок.

Я попросил ребят прочитать дома сказку Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь» и ответить на вопросы (на 8 устно, а на 9-й письменно).

1. Случаен или закономерен (докажите) в замысле писателя образ мелкой рыбешки?
2. Из чего видно (две-три детали), что пискарь действительно «интеллигентный»? Что дает это сюжету?
3. В какие моменты (найдите) и с какой целью (объясните) «рыбье» в пискаре становится «человечьим»?
4. Большинство сказок Салтыкова-Щедрина (назовите — какие) появилось в 80-е годы XIX века. Почему?
5. Чем «премудрый» лучше «мудреного», «мудрствующего» и т. д.?
6. Гротеск или гипербола, с вашей точки зрения, преобладает в «Пискаре»?
7. Чем примечателен язык сказок Щедрина?
8. Из ста с лишним лет, прожитых пискарем, что сохранила его память?
9. Какая черта в пискаре вам наиболее неприятна?

Из письменных ответов на последний вопрос и родился урок. Держа в руках листки (еще одна «общая тетрадь»), пылливо оглядываю класс. С таким же любопытством смотрят на меня и ребята: как оценю их микросочинения? Читаю.

«Только в мечтах да во сне вылезал пискарь из своей норы, чтобы «гоголем по всей реке проплыть». Но не гоголем, а «срамцом», «идолом», «остолопом» прожил он сто лет. Страх за себя — самое отвратительное в нем».

«Завет отца «гляди в оба» пискарь сделал целью и смыслом жизни. Такие всегда вызывают презрение».

«Всего бояться — это не жить, а «жизненный процесс» совершать, как сказано у Салтыкова-Щедрина. Трусость омерзительна».

«Пискарь выдолбил норку, чтоб только одному поместиться. Так поступают предатели и шкурники. От страха и ужаса они готовы всю землю изрыть норками».

С интересом слушали ребята свои высказывания, радуясь бескомпромиссным оценкам.

— А теперь представим ситуацию, — обращаюсь к одному из авторов: — Ты живешь на краю города, в доме, который только отстроился. Однокомнатная квартира, первый этаж, окнами на пустырь. Вокруг безлюдье. Да и дом еще не полностью заселен. И вот полночь... за окном... драка. Погасил свет, чтобы лучше видеть. Несколько бьют одного. Что делать?

Класс приумолк, глядя в «окно». Я не торопил. Хотя между прочим намекнул, что судьбу неизвестного решают считанные секунды. «И долго, мучительно долго, душе не поднять головы», — вспомнил строчки поэта, видя склоненные над партами головы ребят.

— Позвонить в милицию...

— Собрать соседей...

Но ребята сами понимали, что в этой ситуации то и другое трудно осуществимо. Телефона пока нет, а соседи не в каждой квартире.

— Значит, высказывать надо, спасать? На это намекаете? А вдруг те, что дерутся, помиряются и на тебя? Да еще с ножом?

Буквально на глазах ребята становились «премудрыми». Главное, не слукавишь. Выдать себя за отважного — одноклассники не позволят, которые друг друга знают еще лучше, чем я их. «Да, это ситуация», — читаю на лицах. Разговариваем, спорим, а за окном... Точно в сказке, зримо шныряет впотьмах зубастая щука. Зримо, потому что погашенный свет так и не зажжен: мало ли что? Спрашиваю еще одного бойкого обличителя пискариной трусливости, как он поведет себя.

— Вылезать надо, т. е. высказывать, — с интонацией безысходности заявил он.

Но верит ли, что поступит именно так? Не жалеет ли, что квартира на первом, а не на последнем этаже? «Первых и последних не предлагать...» — читаю нередко в объявлениях по обмену. На последних остерегаются шум-

ного лифта, протечки; на первых — той самой жизни, которая за окном... Впрочем, и на первом можно жить, как на последнем, лишь окна поплотнее зашторить или «лоджу» застеклить.

Итак, «вылезать». Я поверил рослому, спортивному парню, который сказал это без восторга. Случись с ним такое на самом деле, раздумывать уже не будет: ситуация проиграна в классе. Впрочем, не до конца. Как поведут себя девочки? Рыбье или человечье победит в них?

— Я бы закричала так, что хулиганы тут же разбежались бы. Весь дом подняла бы криком. Пусть думают, что я сумасшедшая.

Что ж, мужество в женщине может выразиться и таким способом.

— А я бы выбежала на улицу и разняла. Ведь девочку не тронут.

— Хулиганы? Любого тронут...

— Все равно бы выбежала...

По глазам вижу: верят. Верю и я в нерассуждающую силу женской отваги. В момент гражданской казни Чернышевского не кто-нибудь, а именно девушка бросила букет цветов к его ногам.

В любом остром диалоге в равной мере затронуты обе стороны. Пришлось и мне отвечать.

— А как бы вы поступили в той же ситуации? Риск уподобиться пискарю в вашем положении (учитывая возраст и прочее) гораздо больший?

Верно. Но в моей жизни бывали подобные ситуации. Об одной из них пришлось рассказать и даже назвать свидетелей. Слушая, не усомнились. Не потому, что были свидетели. Знали: мимо чужой беды пройти не могу. Прятаться за штору не умею. Бывало (чего уж скрывать), выходя на улицу едва не заклинаю, чтобы путь мой, когда очень спешу, не осложнился происшествиями. Обязательно вмещаю, как говорят, на свою голову. Случалось, помогая кому-то, виноватым оставался сам. Не без помощи того, кому помогал. Но охладило ли это меня? Нисколько. И тут дело не в убеждении и не в смелости (отважным себя не считаю), а в особом состоянии души: замучаешься, если мимо пройдешь, а не поможешь.

— Пискарь-то хотел щуку «надуть», а вышло — себя. Изю дня в день повторяемое им «кажется, жив» звучит для нас «кажется, жил». А прожить-то надо; чтобы не казалось. Без риска, опасности, мужества сделать свою

жизнь не призрачной и кажущейся, а реальной, думаю, невозможно. Вспомним конец сказки: загадочное исчезновение пискаря. Умер он или продолжает жить, никто ведь толком не мог ответить. Разве не иллюзия жизни? Ужасный и в этом смысле самый памятный год в биографии пискаря, когда он носом нору для себя долбил («сколько страху в это время принял»), по сути, был единственным реальным годом среди ста других, похожих один на другой. А слово-то какое находит Щедрина — «принял». Тут и ужас пережитого, выстраданного, и некое интеллигентское самолюбование, своего рода героизм: столько страха принять! Ну-ка, попробуйте! Хватит ли самого страха? А вот хватило и даже осталось — на всю «распостылую жизнь». Иного должителя, честно говоря, хочется спросить с интонацией Щедрина: «Каким он манером умудрился сто с лишним лет прожить?» Нет ли тут пискарино расчета: «дрожа, победы и одоления одерживать»... над совестью и долгом? Как бы ответил мой загадочный должитель на те семь (и впрямь, как в сказке) вопросов, что задает себе умиравший пискарь: «Какие радости были у него? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал о нем? кто об его существовании вспомнит?» Если никого, никому и никто, то был ли он сам? Прожил или просуществовал? Уставиться «в оба» — и ничего не видеть вокруг, накапливать года, а не жизнь и тем более не добрую память о себе — не смерть ли это, рядящаяся в жизнь? Долгоживущий, увы, не всегда должитель. Может, из ста лет, как у пискаря, прожить-то довелось ему всего лишь год?

Этим монологом заканчиваю нравственный разговор о премудрости обывательской философии, о сатирической манере Салтыкова-Щедрина, который не хихикает в кулак, а бьет кулаком. Но в анкете умышленно отсутствовал вопрос, над которым предстояло подумать особо: какую роль в плачевной судьбе пискаря сыграли его «умные» родители? Вопрос всколыхнул. Красочные воспоминания старого пискаря о том, как он однажды чуть в ухо не попал, сгущенные отцовской тревогой за сына-несмышленища, способны на всю жизнь заронить в душу страх. Поневоле дрогнешь и задрожешь. Щучье «хайло», челoveчь «уда», «клевня» рака для пискаренка вырастают в грозные символы подстерегающей на каждом шагу опасности. Любя детей и заботясь о них, передавая

им свой жизненный опыт, мы нередко, подобно старому пискарю, воспитываем в них закоренелых трусов, перепуганных сложностями и трудностями жизни. В страхе за свое, родное, кровное плодятся современные пискари.

Так, разграничивая, с одной стороны, функции учителя и ученика, а с другой, урока и задания, я увязывал разрывом образовательное (анкета) и нравственное (урок), чтобы то и другое выразилось целыми величинами, а не половинками, т. е. нравственным приращением. Разумеется, в беседе с классом коснулся всех (!) пунктов устной анкеты, но не для того только, чтобы проверить задание, а чтобы и углубить наш разговор о прозябающих всяк на свой манер (в литературе и в жизни) пискарях, действительно премудрых, т. е. перемудривших: в сатирическом подтексте приставку **пре** можно истолковать и в значении «пере».

Вскоре я стал свидетелем довольно любопытной подробности. Поспешно одеваясь, школьница нечаянно обронила ключи в вестибюле. Я поднял их, чтобы отдать. Рядом с ключом от почтового ящика (!) увидел на цепочке... обыкновенный милицейский свисток. То был еще один — материализованный — результат урока.

ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ

Можно знать формулы, таблицы, правила, подчиняясь всесильному «надо». Но осваивать с тех же позиций литературу — ошибка. Без таблицы умножения — и шаг не сделаешь! А вот без Тургенева или Чернышевского жить, в общем, можно, и многие живут, по-своему даже преуспевают. Здравый смысл, хоть он порой и узкий, примитивный, торжествовал во все времена. Когда без Чернышевского «нельзя»? Подумаем об этом.

Загадочная фигура Рахметова («Что делать?») взволновала еще в школьные годы: во всем, кроме «гвоздей», подражал ему. Кое-что и поныне сохранил с той далекой поры, когда фанатично звал за ним и себя, и мальчишек нашего шумного двора. Уже студентом осознал все то, что некогда безотчетно тревожило: если ты не родился дважды, то не прожил и одной жизни. Желание родиться еще раз — духовно! — магнитом притягивало к Рахметову. Но, признаться, больше всего восхищало физическое совершенство моего литературного кумира. Лишь позже пришло понимание мудрой рахметовской гармонии, без которой в равной мере невозможна ни физиче-

ская, ни духовная красота. Главу «Особенный человек» знал чуть ли не наизусть. Очень хотелось быть **особенным**.

Свой первый урок, помню, вопреки программе, начал с романа «Что делать?» — настолько велико было желание позвать за Рахметовым. Впоследствии не раз и не только на уроке поступал вопреки и скажу: есть в этом смысл. Начинающему начинать надо с себя! Откладывать «на потом» свое, наболевшее рискованно. Не начни я так девятый класс, возможно, он стал бы единственным в моей жизни. А сейчас их уже тридцать.

Долго обдумывал, как назвать урок. «Становление гармонической личности...» — заглянул в одну весьма солидную монографию, тут же и закрыл ее. «Эволюция Рахметова по роману...» — прочел я в другой книге, тоже не звучит. «Он поважнее нас всех вместе взятых» — отыскал в самом романе слова Кирсанова о Рахметове. Обрадовался: какая содержательная мысль! Но что-то не устраивало. То, что просилось из души, требовало собственных слов. Притом обращенных к ученику, приближающих его к герою, а значит, вызывающих **внимание** к уроку. Формулировкой темы хотелось подвинуть ребят на конкретные шаги к себе-Рахметову. Решил не мудрствовать и еще раз толком вслушаться в себя: что удивляет больше всего в этом человеке? Как обыкновенный стал особенным! Вот так и запишем. А затем одно словечко выделим. Ребята угадают какое. **Как** стал.. Чернышевский романом-вопросом отвечает нам и на это — что делать, если тебе, как и Рахметову, еще только 16, и ты, как и он, в самом начале своей судьбы. Она может быть и весьма обыкновенной, и особенной. Безусловно, в уроке будет и необходимый экскурс в эпоху: писатель разделяет «новых людей» на обыкновенных и особенных, чтобы «через препоны и рогатки царской цензуры» (В. И. Ленин) сказать о тех, кто вступил на путь революционной борьбы с самодержавием, и ответить на главный вопрос времени бескомпромиссно: делать революцию. Однако Рахметов прежде всего будет учить нас **самостроительству**. Остальное — историко-литературные и другие специальные знания — в скобках и сносках, иногда обширных. Уже тогда виделась мне модель «моего» урока, на котором главное — нравственный разговор, побуждающий учеников к самопознанию, самоопределению. Может, тогда и начался поиск синтеза урока и учебника, увязок разрывом, «общих тетрадей»,

позволяющих усилить **воспитательное** воздействие урока, а значит, и книги.

— Оказывается, Рахметов был «добрым и честным юношей». Условие немаловажное, чтобы сделать первый шаг к лучшему в себе. А с кем и как он ищет знакомств? Не с теми, кто духовно равен или ниже его. На этом удобном принципе — пощадить, с одной стороны, свое самолюбие, а с другой, самоутвердиться без особых перемен в себе самом — строятся многие наши знакомства. Рахметова заинтересовали «умные головы», которые думают не как все и не как он. Это-то и сблизило его с Кирсановым. А ведь мог подружиться и с Сержем Сторешниковым, будучи добрым. Всякое в жизни бывает. Особенно с юношами, еще не осознавшими, с кем и куда идти. Зрелому умению выбирать знакомства поучился у Рахметова. Слушая Кирсанова, он плакал от восторга и потрясения. И в том заслуга не только Кирсанова, «умной головы», но и чуткой к истине живой «натуры» самого Рахметова. Эмоциональная отзывчивость, тонкость чувств — такое же важное условие духовного роста, как и честность, доброта, благородство, стремление к высокому. Впрочем, все это связано, и настолько, что отдать предпочтение чему-то одному, не умалив другого, невозможно. Да и не нужно. Лучше подумаем, что было дальше. Неужели этот юноша снова придет к Кирсанову и, обливаясь слезами, будет слушать его так же жадно, как и в первый вечер? А потом снова и снова... О, нет, душа разбужена, теперь он пойдет дальше и сам. «С каких же книг мне начать читать?» — уже в первый вечер, прощаясь с Кирсановым, спросил он. Именно книги сыгряют особую роль в судьбе особенного. Между прочим, тот факт, что Рахметов в 16 (!) лет знал немецкий, французский, т. е. мог прочитать необходимую книгу в подлиннике, немаловажен. Полгода напряженной учебы у книг — и Рахметов духовно равен Кирсанову, хотя тот и старше его. С таким же завидным упорством, с каким формирует в себе ум, Рахметов тренирует свое тело и в итоге в перетягивании каната побеждает знаменитого волжского бурлака. Подумаем, однако, кого Рахметову труднее победить: Никитушку Ломова или себя — влюбленного, но отвергающего любовь?..

Так, помнится, складывался этот урок, открывший мне учительскую профессию, а ребятам — мой идеал человека. Три любимых рахметовских слова «надо», «нужно», тождественные четвертому «хочу» и

равные пятому — «могу», увлекли романтикой **само-строительства**, мечтой обрести над собой власть и управлять собой. «Поэзия ума», которой Чернышевский наделил своих героев, открывала моим ученикам возможности человеческого совершенствования. Каждый новый виток урока рождал внимание. Хотя бы такой штрих. «Всю ночь Рахметов, — говорил я классу, — спал на гвоздях, выработывая в себе...» И вдруг реплика: «Не спал, а лежал, наверно. Гвозди — не перина». Ученик слушал меня. На этот счет имею собственный афоризм: хороший ученик тот, кто поправит учителя. Более того — часто умышленно даю ребятам эту возможность. Кому-то, помню, за один урок поставил сразу три «пятерки». Но тогда поправка задела самолюбие: допустил просчет. И только со временем понял, что нашел прием.

Формулировка темы урока по Рахметову не осталась неизменной. Теперь она звучит так: «Как созидать самого себя!» Эта мысль стала идейной сердцевинкой урока, на котором ведем разговор о нашем втором, духовном рождении. Когда написал эти строки, вдруг увидел: в девизе урока есть одно лишнее слово. Какое, читатель?

ТЕБЕ СОЗВУЧНЫЙ, ТЕБЯ ЗОВУЩИЙ

Когда не только в книге, но и в себе благодаря ей делаем открытия, а потом вновь беремся за книгу, чтобы лучше понять себя и ее, только тогда книга живет. Литературное произведение становится не просто текстом, документом, памятником эпохи, а (прежде всего!) помощником в нравственных исканиях и обретении себя наилучшего.

«Таланты» (писатели) и «поклонники» (ученики) на уроке часто общего языка не находят. Излюбленное оружие словесника — зачеты, контрольные, собеседования по тексту — не только не соединяет, а еще больше разобщает школьника с книгой. «Педагогический пресс» эффективен, быть может, в каких-то иных случаях, но не в воспитании читателя. Сущее бедствие, когда словесник, подобно учителю математики или химии, ведет затяжную зачетно-контрольную борьбу за прочное и глубокое знание страниц, глав, томов. Ничто так не убивает мысль, как обязательное чтение! Даю школьнику право не читать книгу, если он этого не хочет, но делаю все возможное, чтобы захотел. Только так и никак иначе воспитывается **свободный** читатель, для которого книга —

потребность духовная, т. е. читатель на всю жизнь. Необязательное чтение, разумеется, всего лишь педагогический прием, за которым целая система средств, заметен и хитроумно приобщающих ученика к обязательной книге, побуждающих по собственной воле в буквальном и переносном смысле открыть ее. Тут и своеобразное предисловие к уроку («Корни нашей жизни»), и увязки разрывом, и особые вводные уроки («Введение в книгу»), и соавторство, наконец, разные типы анализа: сюжетный («И шаги и слова...»), контрастный («Свои странички»), опережающий («Сейчас или потом?»), методический («Комментирую себя») и т. д. Чтобы рука школьника потянулась к книжной полке, надо на уроке озадачить его такими жгучими вопросами, не ответив на которые, не успокоишься. Например, такими: особенный человек применительно к сегодняшнему дню — что это такое? Всякий ли обыкновенный способен стать им? А вот еще один путь к книге: приблизить ее героя к читателю. Насколько словесник способен сделать это, настолько будет лично значим и нужен герой, а книга прочитана. Ведь была же пушкинская Татьяна «Кларисой, Юлией, Дельфиной...» И Корчагин не просто читал и перечитывал «Овода», он с ним общался. Научить искусству такого чтения, когда герой предстает не только как «продукт» той или иной эпохи, но и как живой, реальный человек, в котором воплощен тебе созвучный и тебя зовущий идеал, — одна из задач урока литературы. Но чтобы возникло общение между школьником и литературным героем и первый силой творческого воображения оживил и приблизил второго как друга и единомышленника, оно должно состояться между учителем и учеником. Именно общение — сотрудничество с учеником и есть основное средство воспитания читательской культуры, увлечения книгой и превращения ее в инструмент познания и созидания своего «я» и жизни, источник гражданских и нравственных исканий. Духовными шагами к себе, а не количеством страниц оцениваю эффективность урока и чтения книги. «Когда я читал, то больше думал, чем читал», — признался ученик, в котором бессмертное «Что делать?» пробудило великую человеческую потребность в самостроительстве и самосовершенствовании. Он открыл мне очень важную истину: читатель не тот, кто много читает, а тот, кто много думает.

НЕОБХОДИМАЯ СНОСКА

Только что говорил о роли «жгучего вопроса» в воспитании учеников как читателей. Но такой вопрос обеспечивает и познавательную активность ребят на уроке, повышая его образовательную и воспитательную отдачу. Знания, добытые в напряженном коллективном поиске, не останутся мертвым грузом, не будут мгновенно забыты, они обретут лично значимый смысл, подлинную высоту, с которой откроются новые горизонты и литературы, и своей души. Вот завязки некоторых уроков.

— Своих героев «округляют» Гоголь (Чичиков), Некрасов (Оболт-Оболдуев), Толстой (Каратаев). С какой целью и кто еще из писателей пользуется этим приемом?

— «Не уйти ли?» — слышит Раскольников голос сердца, когда стоит с топором перед дверью старухи процентщицы. Не оставлять без ответа вопросы, которые задает нам наше сердце, — именно к этому зовет Достоевский. Давайте послушаем себя: на какой тайный вопрос своего сердца хотели бы получить ответ?

— «Прощайте», — сказал Пьер солдатам, которые его накормили, отогрели, и — взялся за карман: «Надо им дать!» Карман большой, денег не жалко. Да и солдаты не откажутся. «Нет, не надо», — сказал ему какой-то голос». У каждого, а не только у Раскольникова и Пьера должен быть этот голос. Он удержит от неверного, хитрого и искреннего, шага. Почему же все-таки «не надо»?

Слышать себя — это значит не убить в себе человеческое: совесть, стыд, сострадание, достоинство. Тревога за душу человека звучит и в лучших произведениях советской литературы.

— «Только ты осторожней с ним, своих не перестреляй», — даря маузер и три полных обоймы к нему, говорит Корчагину Федор Жухрай («Как закалялась сталь»). Не хочет ли он этими словами напомнить старому другу, какую ответственность возлагает на каждого из нас «маузер»?

Вглубь и вширь (литературно, исторически, нравственно) целым уроком и всей книгой раскрывается строка-вопрос. Живой душе, уверовавшей в разумное, человечье, это даст больше, чем «соотношение» автобиографического и художественно-обобщенного, которое нередко измеряется кропотливо и дотошно. Нет, измерять можно и даже нужно, но если не забыто главное на уроке — ученик. «Я верю в строки, без которых сегодня лю-

дам жить нельзя», — сказал советский поэт С. Щипачев. С этого ведь начинается и сама литература, и наш урок, устремленный в нравственные глубины художественной мысли. Насущная строка откроет ребятам и книгу, и самих себя. Чтение — тогда еще и попытка найти и содержанием всей книги (иногда нескольких) осмыслить свою строку. Путей много, источник один: то, без чего нельзя. В свои рабочие планы всегда записываю строки, рождающие вопрос, а затем и урок.

«Вот о себе подумал он высоко...» — с обидой и раздражением говорит о Чацком Софья («Горе от ума»). Подумать о себе высоко и подняться на высоту, о которой думал, а потом помочь взойти на нее и другим, тем, кто близок и дорог, — не так ли рождается личность, т. е. совесть, долг, чувство истории, активная жизненная позиция?

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!

Блоковская строка не просто повод к разговору о личной ответственности каждого за свою судьбу, за свой «ключ». Это и угол зрения на многое неувиденное и неразгаданное в Блоке.

Конечно, есть и такие уроки, на которых мы решаем преимущественно филологические, учебные задачи.

У Пушкина есть ода,
Названье ей «Свобода», —

писал Н. А. Некрасов. Но ведь ода называется иначе: «Вольность». Тождественны или чем-то отличаются эти понятия? В произведениях Пушкина часто встречается и то и другое слово. Взаимозаменяемы они или нет? Если нет, то какое по значению шире, многозначнее? Какое и на каких этапах творчества поэта преобладает? Так из двух слов и нескольких вопросов складывается урок — исследовательский, дающий нагрузку уму и отдых чувствам.

Наибольшая трудность — увидеть очевидное. Мы видим все, кроме очевидного, считая его второстепенным, незначительным. Касается это не только жизни, но и литературного анализа. Иная «очевидная» страница, которую торопимся перевернуть, оказывается нередко главной, если не в самом произведении, то в уроке. Пусть и здесь нам поможет испытанное средство — направляющий внимание вопрос.

«Кого внимательнее и дольше всех (не перебивая!) слушает властная, надменная Кабаниха?» Таким вопросом однажды начал до скуки знакомую тему: «Темное царство» в «Грозе». И что же? Урок стал другим, новым — не в смысле художественного материала, а в способах его обработки, значит, и в конечном результате. Ну, так кого же? Властная Кабаниха слова никому не дает сказать. Ответить надо, не заглядывая в пьесу; это, кстати, один из лучших способов проверить знание текста. Книгу можно открыть, чтобы аргументировать ответ. Идет спор знатоков. Тихона? Нет. Кроме «маменька» и «чего изволите-с», другого он изречь не может. Поговорили о семейном гнете как типичном явлении «темного царства», процитировали Добролюбова. Катерину? Но ей и вовсе не дают рта раскрыть (уже о двойном семейном гнете идет разговор). Дикого? Нет, Кабаниха не слушает, а лишь снисходительно выслушивает его, если он не кричит. Обсудили и характер Дикого. Дольше всех и внимательнее всех она слушает... себя! Догадка не лишена смысла, но ее надо подтвердить. Никто не называет Варвары. Не случайно. Она вроде как на положении служанки или рабыни. Еще примета «темного царства».

Извечный грех ребят, да и наш, учительский, — все внимание главным персонажам. Второстепенные будто ничего и не значат. А ведь они порой неожиданно приоткрывают глубины замысла, во весь рост помогают увидеть главные фигуры и основные события. Слово груз свалился с плеч, когда чуть не хором выкрикнули: Феклушу! Страницу! Вот тут-то снова открыли книгу. Начался урок — не просто по-новому, новый. Верит ли Кабаниха тому, о чем Феклуша рассказывает? Слушает или только притворяется? Почему перед грозой — той, что разразится в природе и в душе Катерины, — появляется Феклуша? Не «подыгрывает» ли Кабанихе? «Царство», о котором она рассказывает, не кабановское ли? Урок, по сути, «сделала» Феклуша, которую прежде недооценивали. Интерес к периферийному, второстепенному увел с проторенной дороги и открыл неизведанную, увлекательную. Нет ли подобных «Феклуш» и в других книгах, с которыми работаем?

У вопроса, когда он с тенденцией «разгромиться» в урок, цели многогранны. Не только героя, проблему — иногда и всю книгу в ее глубинных связях с литературным процессом способен он высветить.

«Если бы выставить в музее плачущего большеви-

ка...» — писал В. Маяковский. Но последние страницы «Разгрома» показывают именно такого большевика — плачущего. Слезы «катились по бороде» Левинсона. Чуть забывшись, он «снова начинал плакать». О чем же плачет большевик, командир партизанского отряда? Психологический анализ — главное в творческом методе автора «Разгрома». Вот и разберемся. Выясним «исторню», точнее, психологию этих слов. Они катились, потому что накопились. В одном уроке откроется и сам Левинсон, и весь (!) роман, каждая глава которого так или иначе связана с ним. Нет, то будет не пересказ, не обзор и не пробежка по страницам, а углубленный анализ.

Разные мнения высказывают ребята. Это слезы облегчения, когда опасность миновала (такими слезами, между прочим, плачет у Толстого капитан Тушин). Убит Бакланов, которого Левинсон любил, как сына (выяснили, за что и почему в Мечике нет и не может быть «Бакланова»). Эта смерть напомнила и другие совсем недавние потери: не стало Метелицы, Сташинского, Дубова... О каждом поговорили. Однажды Левинсон самому себе позавидовал, что управляет таким парнем, как Метелица. (Не удержался и вслух назвал несколько учеников, которые и у меня вызывают такое же чувство.) Идея за «правильным» командиром, гибнет как герой Морозка. В слезах Левинсона (было и такое мнение) не только боль памяти, но и чувство вины. В любых потерях есть вина того, кому доверились. А письмо, которое получил Левинсон от жены, где она пишет, что у нее туберкулез и семья голодает; — разве не усилило горе? Кстати, в тот день он получил два письма: деловое и личное. Но вскрыл тотчас деловое. Немаловажная деталь. Еще мнение: он оплакивает и Фролова, чью смерть вынужденно приблизил. Сташинский мог бы и не говорить Левинсону о том, что Фролов безнадежен. Не перекладывает ли он этим своей ответственности на плечи командира? Все-таки легче, когда прикажут? Слезы Левинсона и от усталости, болезни, которые он изо всех сил скрывает от других...

Так разворачивался урок, едва не целиком вобравший в себя лишь с виду тоненький «Разгром». А когда на доске я записал тему (нередко делаю это не в начале, а в конце урока) — «Человек обязанностей» — и прокомментировал самые последние строчки романа: «Нужно было жить и исполнять свои обязанности», не только у ребят, но и у меня возникло чувство завершенности раз-

говора. Бесконечные «нужно» и «надо» хотя и держали Левинсона в седле, но тоже выматывали — до слез. Класс вдруг увидел не «кожаную куртку», в которой литература тех лет нередко изображала коммуниста, а живого, обычного человека, страдающего и переживающего, и вместе с тем необыкновенного. Сравнили конец и начало романа: Левинсон — у костра и Левинсон — в атаке. У костра он показался Мечуку «маленьким гномом». Но как преобразается этот «гном» в бою, на летящем во весь опор коне, привстав на стременах, с шашкой, вскинутой вверх, — воплощение энергии и юношеской отваги! Это сверхчеловеческое нервное и физическое напряжение добавило еще одну каплю в переполненную чашу. Зададим себе последний вопрос: в том, что Левинсон плачет, — сила или слабость?..

Арсенал вопросов постоянно пополняю. Записываю их на отдельных карточках, классифицируя по степени интереса, значимости, проблемам. С просмотра картотеки начинаю подготовку к уроку. Есть вопросы-«ошибки», которые со временем попадают в архив, вопросы-«эксперименты», требующие проверки. Вокруг старца Луки («На дне»), возможно, и не было бы таких шумных споров, появившись в подвале-ючлежке еще одно действующее лицо. Что это за лицо? У Анны и Клеща, к примеру, могли быть дети: сын или дочь. К ребенку Лука наверняка отнесся бы иначе: без унижающей жалости, обмана. Отношением к детям испытывали своих героев, высвечивали в них самое лучшее Достоевский, Л. Толстой, а позднее Шолохов... Что же «помешало» М. Горькому ввести в круг «бывших людей» будущего человека? Решаюсь задать ребятам этот мучающий меня вопрос в надежде получить от них более объективную оценку «милого старикашки». Зато другие вопросы, уже не раз проверенные, опасений не вызывают, например, такой: тринадцатым апостолом считал себя Маяковский («Облако в штанах»), а какую позицию занял Блок в «Двенадцати»?

Итак, домашняя картотека, где вопросы один за другим нетерпеливо-звонко стучатся в скорлупу пока еще неясного замысла, по-своему тоже источник новых уроков. Самая же первая карточка, может быть, вдохновит кого-то из моих коллег-словесников на собственный поиск начертанными на ней строчками поэта:

...По вопросу тоскует ответ.
Так же, как где-то
тоскует вопрос по ответу.

СВОИ СТРАНИЧКИ

Интересно учителю — интересно всем! Интуитивно чувствовал это, когда начал свою работу в школе. По той же причине оставил ее. Стало неинтересно. Вспоминая ту далекую пору, с уверенностью говорю: за себя **интересного** надо бороться всю жизнь. И с другими, и с собой. С кем больше — не берусь судить, но борьба эта изматывает. В число «других» попадают не только ребята, но и облеченные степенями и титулами несостоявшиеся учителя — народ придирчивый и мстительный. И все же самое трудное сражение — с самим собой, с собственной инерцией, успокоенностью души и мысли.

Стал читать «для себя», отыскивая страничку, которая не писателя, а меня раскрывает. В этом заинтересован и сам писатель, вступая в сотворчество с читателем. «Страничка», разумеется, не адекватна печатной. Она может быть и целой главой, и коротким эпизодом, и даже отдельной репликой. Каким бы шедевром ни была художественная книга, **своих** страничек, поверьте, не так уж много. С годами, буду откровенен, их не стало «значительно больше», а вот потребность увеличить количество уроков, чтобы раскрыть каждую из них, возрастает. Курьез и еще одна загадка **своего** прочтения книги, будь ею даже «Война и мир». Собственно, о ней-то и пойдет разговор. Помню, как-то сказал коллегам: «Из двух тысяч страниц «Войны и мира» **моих** только девять». И встретил дружное осуждение: вот так урезал, то бишь «зарезал» гения! Но эти девять страниц открывались и углублялись **двумя тысячами**. Иного стимула читать и перечитывать книгу, пожалуй, нет. У каждого, а не только у словесника, убежден, должны быть такие странички. Познакомлю с одной из них и с уроком, ей посвященным.

Прошу учеников достать листочки и написать сочинение-миниатюру на тему «Ростовы уезжают из Москвы...» (т. 3, ч. 3, гл. 15—16). Говорю, что после (уроки сдвоенные) ту же тему — устно! — попытаюсь раскрыть сам. В разных прочтениях одной и той же «странички» многое приоткроется. Уроку вообще нужны контрасты, сопоставления — резкие, яркие.

Большинство сразу ухватило «нерв» темы: бескорыстие Ростовых; другие писали о переживаниях Наташи

по поводу «бального платья»; кое-кто, углубившись в философию Толстого, разгадывал примечательную подробность текста: графские книги Наташа оставляет в узелке (!). Некоторые ученики (в основном девочки) точно по описи перечисляли вещи Ростовых: ковры, хрусталь, саксонские блюда и т. п. Сколько всего! Тут и на тридцати подводах не увезти. Но в каждом сочинении просматривался общий промах: дефицит умения анализировать текст. Моя «страничка» — несколько глав романа, и, прежде чем о ней рассказать, надо было выбрать основные удивившие меня детали, объяснить их, чтобы ее прочитали так же, как я, ребята. Анализ — это когда бумага загорается! Мои ученики знают, что это такое, и не улыбаются. Будто линзой, направленной на текст, уменьшаем солнечный круг внимания до воспламеняющейся точки. Этой точкой может быть эпизод, реплика, слово. Мне потому и нужны контрасты, чтобы показать, как это делается.

И вот более тридцати листков (еще одна «общая тетрадь») легли на мой стол. Теперь, в буквальном и переносном смысле, дам свой урок.

...«Что это, друг мой, я слышу вещи опять снимают?» — спрашивает графиня мужа. Никто не обратил внимания на неприметное «опять», из-за которого в графской семье чуть не вспыхнула ссора. «Вещи» — всё, что осталось у хлебосольных, гостеприимных Ростовых, ныне почти разоренных. Понятно желание уложить на подводы как можно больше. И хотя подвод немало (похвалил кого-то за точно указанную цифру), но всего уместить невозможно. Потому и «снимают» по несколько раз. И вот «опять»... Но уже не для того, чтобы уложить. Добрейший граф несколько подвод отдает под раненых, что находятся во дворе Ростовых. «Ведь это все дело наживное; а каково им оставаться, подумай», — робко оправдывается он перед женой. Да, вещи — наживное. Но не для графа, бесхозяйственного, расточительного. И потому, графиня права: на подводах не просто вещи, а «детское состояние» — судьба Наташи, Веры, Сони. «На раненых есть правительство», — упрекает она мужа. Жестко, не правда ли? Ведь то, что Ростовы в числе последних уезжают из Москвы и даже не очень торопятся, — этим они обязаны раненым, накануне сдержавшим натиск врага. Ох уж это «детское»! Скольких возвышает оно, а скольких заставляет изменить, лучшему в себе. «Посмотри: вон напротив, у Лопухиных, еще третьего

дня все дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки», — звучит гневный голос матери. Ребята заулыбались, когда я спросил: не приходилось ли им слышать нечто подобное и в своих семьях? Значит, кто вывез «дочиста» — люди, а кто чем-то пожертвовал — дураки. С позиций «детского» иногда даже и умные, добрые так рассуждают. Обидно за графиню Ростову, вдруг пожалевшую статью Лопухиной. Как все-таки поразительно меняются ценности, когда под угрозой наши вещи. В «люди» неожиданно попадает и Берг, который в суматохе ловко приобрел шифоньерочку и надеется благополучно вывезти ее. Формула та же: за всех отвечает «правительство», в том числе и за него, а он только за себя и за свое. Не важно в конце концов, чьей будет Москва, важно, чьей будет шифоньерочка.

Повинуясь тому, что «напротив», а более всего жене, граф велит «опять» грузить вещи. В эту нелегкую для Ростовых минуту и раскрывается характер Наташи: такого «детского», на котором кровь, ей не надо. Да и маменьке — тоже. Это ведь не она, нет, это Лопухины распорядились... «Мерзость» и «гадость» — то, что делают сейчас Ростовы. Такими словами вперемежку с ласковыми, извинительными («маменька», «голубушка») надеется Наташа образумить самого дорогого ей человека. Уже не только раненых, но и маму надо спасать. «Маменька, это нельзя; посмотрите, что на дворе!.. Они остаются!..» — не говорит, а кричит Наташа, возмущаясь, что и мама оказалась в числе тех, для кого фарфор, хрусталь, ковры дороже людей. Жаль (укоряю ребят), что всерьез никто не подумал над словом «они» в реплике Наташи. А ведь словечко-то толстовское. Скажи его не Наташа, а сам автор, наверняка был бы курсив. Кто они? Ну, понятно, раненые: уже этого достаточно, чтобы не оставить. А еще? Заговорили ребята, устно «дописывая» сочинения.

- Солдаты, защитники Москвы!
- Разумеется.
- Русские, родные!
- Безусловно.
- Люди! В таком положении Наташа, наверное, и французов бы не оставила.
- Наверное.
- Братья, породненные тем «мирским», которое, по Толстому, бессильна разрушить даже война!

— Конечно. Не потому ли, всей душой ненавидя войну, он дорожит такими вот минутами, открывающими в человеке братское, вселенское, т. е. великое? Реплика безмянного солдата выражено и душевное состояние Наташи: «Нынче не разбирают... Всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва». Слово-то одно, а скольких сблизило! Рядом — князь и простой мужик, солдат и ополченец, совсем еще юный Петя Ростов и бывалый солдат Денис Давыдов. Толстому, мыслителю и художнику, философу-миротворцу, нескончаемо дорого до простоты великое «нынче», дважды повторенное солдатом и по существу ставшее темой романа. Представлялась возможность приоткрыть тайну иного «мира» — в душах людей, показать более важную для русских победу: нравственную. Неужели маменька не понимает, что в этом «они» могли оказаться Николенька, Петя — ее сыновья. Чуть позже о смертельно раненном князе Андрее узнают все Ростовы, а сердцем, интуицией уже сейчас Наташа предчувствует это. Если бы их подводы, до отказа груженные вещами, встретились с осторожно движущейся коляской, в которой в беспамятстве лежал раненый Болконский, как бы посмотрели Ростовы в глаза друг другу? Не просьба и не призыв, а предупреждение о несмылаемо-позорном, чего веки не простит совесть, звучит в Наташином «нельзя». В нем мы слышим голос и самого автора, угадываем его отношение к вещам. Особенно в словах Наташи: «... ну что нам-то, что мы увезем...» По-разному можно истолковать многомерное «нам-то». Тут и Наташа, Соня, Петя — дети Ростовых; и сами родители: разве «наживным» жили и живут они? Потому и тянулись к ним многие (называя имена), ибо в этой семье царил атмосфера доброты, душевности. Вот он главный капитал Ростовых! Друг к другу тянулись и сами Ростовы, что отнюдь не во всякой семье бывает. Оставить раненых и взять пожитки — останутся ли сами Ростовы? Сможет ли Наташа, как сейчас, обожать своего брата Петю, кое-что прощать ограниченной Соне, называть маму «голубушка», чтить безмерно добрейшего отца? Пусть хорошенько подумает мама: что увозить на подводах? Каким богатством вообще живет человек? Не позволить иногда себе делать «как люди» — это остаться среди них человеком. Конечно, юная Наташа не могла так рассуждать. Но чувствами, эмоциями она высказала именно это. Заставила нас подумать: в каждой матери, наверно, живет «графинюшка» с извечной тре-

вогой за «детское». Но в каждом ли отце — такое же мудрое отношение к «наживному», как у графа? После слов Наташи («Маменька, это нельзя...») вместе с отцовской гордостью за свою теперь, как никогда, любимую дочь к нему приходит и желанное облегчение: граф плачет «счастливыми слезами». Да, такие слезы — счастье! Но не сейчас, когда в Москву вот-вот войдут французы, а позже поймет он это, и еще теснее сомкнется в его судьбе свое, личное с историческим, народным. Радость таких слез познала и графиня...

Отыщите эту страничку, когда наши слезы бывают святы и прекрасны. Еще об одном. Наташа вдруг оказалась намного практичнее «практичной» Сони. Да, графиня уступила, сдалась, но успокоилась ли в ней «мама»? Из наживного, детского, значит, взять надо самое-самое нужное. И на это отпущены буквально считанные минуты. Но чего не сделаешь для мамы, когда ее любишь, а теперь уже и не просто как маму, но и как человека.

Я перебрал листы, нашел среди них один. Обращаясь к классу, сказал: «Закончу урок так же, как автор этого сочинения. Вот послушайте»:

«Наконец, все угомонились, затихло в доме Ростовых, как это бывает перед дорогой. «Подводы с ранеными одна за другою съезжали со двора», — пишет Толстой. Тронулись в путь на четырех экипажах и хозяева, материально еще больше разоренные, но обогатившиеся духовно. Не «правительство», а они отвечали за раненых в тот грозный час».

— Великолепно. Но добавим строчку: «Не останутся в долгу и раненые: вскоре Ростовы опять вернутся в свой московский дом».

Ребятам понравилась и концовка, и двойной акцент не замеченного ими слова, с которого я начал и которым завершил тему. Однако они предложили сформулировать ее иначе: «Что нам-то, что мы увезем...»

Великое это слово *согласие*: со+гласие. Слияние двух, нескольких, множества голосов в один. Сближал своих лучших героев духовным началом, Толстой сблизил и нас — страничкой, которую читаешь несколько минут, а размышляешь всю жизнь. Вот такими страничками, пусть их всего только девять (на самом деле больше), открывал я ребятам «Войну и мир» — «два килограмма» текста, как сказал ученик, удивившись тому, что целиком прочитал роман, с трудом умещавшийся в порт-

фель. Не просто это научить — не граммами, а килограммами читать книгу! Тут без своих страничек нельзя. Разговор о них нередко продолжается и на перемене.

— Когда я читаю Толстого, думаю: вот это было и со мной; а когда Достоевского — хорошо, что этого со мной не было. Испытывали когда-нибудь такое? — спросила школьница.

— Испытывал, и не раз. Толстой пишет правила, Достоевский исключения. Но тот и другой исследуют душу. А вот где больше раскрывается душа, в правилах или исключениях — не знаю. Хочу об этом тебя спросить.

Спаренные уроки для меня и ребят — праздник! На одном пишут они, на другом — я. Какой бы ни была разница в прочтении, она принципиально нужна и мне, и им. Больше разница — ощутимее эффект. Какой угодно, но прежде — воспитывающий и обучающий. В ожидании второго урока ребята лучше стараются и на своем, предварительном. Недели, месяцы постепенно сокращают эту разницу. Но не настолько, чтобы кто-нибудь даже из самых удачливых успокоился. Ведь и я не стою на месте. И буквально тоже. Когда ребята пишут, мимоходом то и дело заглядываю в листки, где всякий хочет «обогнать» меня, а в действительности лишь помогает уйти вперед. Сопоставляя в контрасте свое и мое на сдвоенном, но как бы одном уроке, ребята постигают тайны творчества. В чем наш главный просчет? Школьник не видит своих возможностей и по этой причине слишком медленно развивается. Открыть «разницей» эти возможности с оптимистических позиций — обязательно будет то, чего пока нет! — наша главная цель.

Зная свои странички в каждой книге, по-иному сближаешь и сами эти книги. Взаимосвязь страничек — еще один источник урока, пожалуй, самый глубокий.

СЕЙЧАС ИЛИ ПОТОМ?

Время от времени люблю нарушать традицию. Иначе неловко да и стыдно перед великими, чьи портреты висят в твоём кабинете. Каждый из них по-своему ее нарушал, чтобы продолжить и сохранить в неповторимости собственного творчества. Можно ли прикоснуться к великим с иных позиций? Не в результате (нет!), а в творческом принципе надо быть равным им. Когда словесник боится такого равенства, мир великого и его книги закрыты перед ним. И никто — ни именитые критики, ни литерату-

роведы, ни ученые-методисты — этого мира и этих книг за него не откроет.

...Шел обычный, по давно написанному конспекту урок. С базаровской злостью и печоринским скептицизмом рассказывал я десятиклассникам о Мечике («Разгром»). На доске интригуяще выведено: «Никчемный пустоцвет!» И вдруг на одной из парт увидел «Как закалялась сталь». Ученик, что называется, работал с опережением. «Разгром» прочитан, на очереди другая книга. Остальные опаздывали, быть может, по моей вине: «Разгром» нравился ребятам, и они не хотели так скоро уходить от него. То же чувство было и у меня. С радостью сознавал, что впереди еще целых два урока.

Итак, среди тридцати «Разгромов», вдохновенно раскрытых, с закладками, — одна «Как закалялась сталь». Что ж, сделаем «закладку» и в ней. Непременно на этом уроке. Почему бы и мне не поработать с опережением — с одним и с тридцатью? Одного — вернуть, а других подтолкнуть? Один в этот раз стоил тридцати: он давал мне новый методический ключ, которым... Впрочем, все по порядку.

— Фадеев (как и Н. Островский) любит ставить своих героев в ситуацию, когда они невольно и однозначно раскрывают себя. «Сбежал гад!» — скажет Морозка о Мечике, когда они были в дозоре. Мысленно Мечик убежал из отряда несколько раз (проследили). «Как я мог это сделать?» — истерически воскликнет он. На «я» или на «это» падает акцент? Почему Фадеев на некоторое время оставляет своего героя в соседстве с пугливо притаившимся полосатым бурундучком? От какого слова фамилия Мечик — *меченый*, *мечется* или от двух сразу? В ком больше личности — в бесшабашном Морозке или в «интеллигентном» Мечике? Личность — что это такое? «... он так ярко (выделено мной. — Е. И.) чувствовал их в себе, этих уставших, ничего не подозревающих людей...» — пишет Фадеев о Морозке. Чем больше в каждом из нас других людей и чем ярче ощущаем мы их в себе в критические минуты, тем, наверное, больше в нас и личности. Если, как Мечик, ты несешь в себе лишь свое маленькое, эгоцентричное «я», можно ли тебе доверить отряд и вообще быть рядом? Одного ли Мечика имел в виду Левинсон, говоря о нем «никчемный пустоцвет»? Истоки предательства — в чем они? Мог ли Мечик не сделать того, что сделал, ошеломив и себя, и нас черной поступкой?

Так примерно шла беседа. Динамично. Сжато. Половинка урока нужна... для другого «мечика». Закрыв «Разгром», я взял одинокую «Как закалялась сталь». Читаю страницу романа.

«К столу протиснулся парень в коротком городском пальто. Летучей мышью кувыркнулся над столом маленький билет, ударился в грудь Панкратава и, отскочив на стол, встал ребром.

— Вот билет, возьмите, пожалуйста. Из-за этого кусочка картона не пожертвую здоровьем!

Конец фразы заглушили заметавшиеся по бараку голоса:

— Чем швыряешься!

— Ах ты, шкура продажная!

— В комсомол втерся, на теплое местечко целился!

— Гони его отсюда!

— Мы тебя погреем, вошь тифозная!

Тот, кто бросил билет, пригнув голову, пробирался к выходу. Его пропускали, сторонясь как от зачумленного. Скрипнула закрывшаяся за ним дверь.

Панкратов сжал пальцами брошенный билет и сунул его в огонек коптилки. Картон загорелся, сворачиваясь в обугленную трубочку».

— Подобно Мечiku, парень этот тоже сбежал. В комсомольском билете, думая о себе, увидел только это: картон. Почему «ребром», а не иначе упал билет?

Деталь объясняют по-разному: «всё в этот момент встало ребром: честь, совесть, отношение к революции»; «парень и комсомольцы как бы две несовместимые грани» и т. д.

— Давно он в комсомоле?— начинаю диалог с владельцем «Как закалялась сталь».

— В тексте не сказано!— слышу ответ.

— Всё, всё сказано, если текст — художественный. Оказывается, недавно: билет-то новенький, корочки еще не обломались, потому и встал ребром (не то что корчагинский — «затрепанный в боях»). Он выбросил его так же легко, как Мечик фотографию знакомой девушки. Парень не вступил, а втерся в комсомол, целился на тепленькое местечко, а попал в холодное — обидно. Вот и швырнул его: зло, с ненавистью. Никто теперь ни уговаривать, ни удерживать его не будет. «Скрипнула закрывшаяся за ним дверь». Если услышали значит, в барак тишина. Кто объяснит ее? Да, все устали, каждому хочется в город, но — не раньше дров; как будет дальше

жить этот парень; надо же: две недели работали бок о бок, на цементном полу рядом спали, из одной миски постную чечевицу хлебали... с «продажной шкурой»; сколько их еще, загаившихся «мечиков», которые по-своему понимают комсомольские взносы и не прочь «кусочком картона» устроиться в жизни. А как точно сказано: Панкратов сунул в огонь коптилки «билет», а загорелся «картон». Сам же билет как символ комсомольской юности ни в каких огнях не сгорит! А вот картон «сворачивается в обугленную трубочку», как и сам этот парень, как и фадеевский Мечик, чья бумажная романтика точно так же сгорает в дымных кострах тайги. Вдумайтесь в заглавие: как закалялась (а не как закаляли) сталь. Никто за тебя не сделает того, что обязан сделать сам. В романе множество вот этих суровых и мужественных «как», помогающих в критическую минуту не сгореть, а выплавиться в сталь...

В конце урока снова вернулись к Мечiku, которого теперь уже оценивали и с высоты Н. Островского, как, впрочем, и самим «Разгромом» неожиданно и интригующе придвинули к себе еще не открытую, но уже начатую «Как закалялась сталь». Можно ли, скажут, не закончив одной книги, начать другую, а после вернуться к первой? К чему это приведет? Какие обретения в таком вот нарушении традиций? К Мечiku в конце концов можно вернуться и в теме «Н. Островский», а не вырывать из книги отдельный эпизод. Признаюсь, на уроке это произошло интуитивно и даже случайно. Не окажись опережения, с которым столкнулся, может, и поныне шел бы спокойно по ступенькам, а не прыгнул через обзорную тему («Советская литература 1930—1941 годов») прямо к Н. Островскому и снова к Фадееву. Но всякий повод — проба того, чего еще не было, но в чем, возможно, есть смысл. Методика в конце концов не рамки, а путь. Почему, спрошу своих оппонентов, оглянуться дозволено, а заглянуть (фрагментом урока) в книгу, которая на очереди, нельзя? Заглянуть и полезнее, и интереснее, чем оглянуться. В любом отношении. Всерьез «зацепить» одной книгой другую намного раньше положенного срока и начать с нею работать — значит содействовать творческому прочтению сразу двух книг. Порознь — не всегда захотят, а рядом — прочтут: и ту и другую. Важно, чтобы книги вовремя (!) оказались рядом. О том, что это и концентрация анализа, говорить не приходится: очевидно. В перспективе надеюсь выстроить урок (не на-

рушая историзма) на «страничках» многих книг, где есть родственные типажи, т. е. не формально, а творчески включить эти книги в круг чтения учащихся.

Итак, из двух половинок старого урока сложился новый, несущий в себе удвоенный идейно-нравственный заряд. К слову сказать, на этом уроке был писатель, доктор педагогических наук Юрий Петрович Азаров. Он дал мне несколько полезных советов: как расширить литературоведческую основу урока, не только надежнее «защепить» следующую книгу, но и органичнее приблизить к ней ту, которую разбирали. Это укрепило мою веру в необычный методический прием: связывать горячие факты, ибо остывшие не волнуют. Продвигаться не только темами, но и линиями, что само по себе динамично, продуктивно и, кроме того, полностью соответствует психологии подростков, которым всюду: в мышлении, поведении, поступках — присущи рывки. Это их стиль движения: не по ступенькам, а через ступеньку. Рывки и возвраты устраняют навязчивость, однообразие, скучную «правильность» тематических разборов. Параллельное изучение двух или даже нескольких книг, связанных общей проблемой, считаю весьма рациональным. Не сегодня, так завтра школа придет к этому. В классе, где литературу изучают и темами, и линиями, должны быть все книги, предусмотренные программой. Их неожиданное сцепление зачастую и есть новый урок.

ПЕРЕШАГНЕМ БАРЬЕР

Кто не знает бессмертных слов Фамусова: «Ну как не порадеть родному человечку!..» Радеющих тетюшек, дядюшек, отцов и матерей на своем веку повидал немало. Удивлялся той бесцеремонности, с какой они проталкивают своего человечка, маскируясь высокими словами о преемственности, династиях, традициях. «Учились бы, на старших глядя!» — слова Фамусова сделала однажды темой саркастического урока о «родном человечке». Ребята (восьмиклассники) то хохотали, то умолкали, о чем-то своем раздумывая. Минут 15—20 шел этот разговор. Но вот я откладываю в сторону бессмертное «Горе от ума» и открываю... «Войну и мир». В контрасте с Фамусовым, не дожидаясь следующего года, захотелось показать его современника — старика Болконского. Поставить в пример иных «старших», но уже не в гротеске.

Старик Болконский, видимо, близко знает Кутузова,

в адъютанты к которому идет князь Андрей. Казалось бы, вот и случай, напомнив о себе, «порадеть» за сына, Единственного! Но не об этом с присущей прямоотой и откровенностью пишет старый князь фельдмаршалу. Он просит Кутузова, чтобы тот сына долго адъютантом при себе не держал, чтобы употреблял в «хорошие места». Одно из таких мест Толстой великолепно изобразил: когда Болконский попадает на батарею Тушина. «Нервическая дрожь пробежала по его спине...» (целиком читаю эту страничку). Используя связи, одни «отцы» (князь Василий, Друбецкая и т. д.) устраивали своих детей в «выгодные» места; иные, подобно Болконскому, тоже используя связи, просили достойных и трудных. «Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет... А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет... стыдно!» — слышим обеспокоенный голос отца. Стыд или боль — что легче пережить? И мы уверены: старик предпочтет боль утраты. Успокаивается, видя, что и сын думает так же.

...Снова вернулись к «старшим» в комедии. Живее, охотнее пошел разговор о Грибоедове — замаячила и властно позвала другая книга. У кого-то из восьмиклассников вдруг увидел «Войну и мир». Не удивился. Урок по «Горе от ума» продолжить можно и страницами Толстого.. Ради этого на время стоит пренебречь «этапами», «периодами», «жанрами» — теми барьерами, которые не пускают дальше отведенных границ. Этот урок убедил, как давать школьнику список книг для перспективного, летнего чтения. Не перечислить их на развернутом листе и прикрепить этот лист где-нибудь у входа или выхода, а соприкоснуться на уроке с каждой из них, и не один раз. Десять классов — десять соприкосновений с великим шедевром! Полагаю, достаточно, чтобы на современном образовательном и нравственном уровне знать произведение. Еще и это побудило в теме «Грибоедов» шагнуть к Л. Толстому...

КОГДА ВЕЛИКИЕ РЯДОМ

Параллелей обычно не любят: уйма подготовок! А ведь к каждому уроку хочется подготовиться как к единственному. Много лет и я отказывался от них. Теперь же, скажу строкой Есенина, «и чувствую, и мыслю по-иному». Параллели нужны! Как импульс творчества, как две линии, в промежутке которых нередко рождается третья — урок.

«Мертвые души», «Ионыч» и «Поднятая целина» лежали в моем портфеле. А уроки в тот день распределились так: 4-й — в восьмом, 5-й — в десятом, 6-й — в девятом. Подумай, читатель, что бы могло сблизить эти книги и три урока? Назову по порядку темы: «А вить хозяин-то я!» (о Плюшкине); «Последние страницы великого романа»; «Как «приезжий» стал «местным». Признаться, мне и самому в то время была неясна связь, которая внесла коррективы и дала всем трем урокам неожиданный поворот. Но теперь понимаю, почему в отличие от других лет, когда я вызывал дружный хохот в адрес Плюшкина, в этот раз, поддавшись необъяснимой грусти, едва не весь урок комментировал...

Выбрав в повествовании удобную минутку (Плюшкин пишет письмо), Гоголь в коротком лирическом отступлении обращается к «пламенным юношам» своего и нашего времени, предупреждая: «Все может случиться с человеком». Взгляни на себя Плюшкин из своей далекой-далекой юности — ужаснулся бы Мертвее и быть нельзя. Но старость бессильна что-либо изменить и потому упряма и жестока. Отсюда «милосердие могилы», которая примет и скроет всякое уродство и надписью «Здесь погребен человек!» защитит тебя.

Раньше как-то вскользь говорили об этом, дескать, «отступление» от главного. Хоть и лирическое, хоть и гоголевское. А главное — Плюшкин как «представитель»; его место в «галерее»; принципы «типизации». Но сейчас вдруг почему-то главным стало вот это маленькое, в одну страничку, отступление. Захотелось и дальше отступить: не две-три минуты, как прежде, а весь урок поговорить с ребятами о том, что может случиться с нами, когда не «все человеческие движения» юности берем мы в свое «суровое мужество» и храним до старости. Нет, Плюшкин не «ушел» с урока, он остался — болью горчайших, необратимых перемен. Шолохов и Чехов какими-то скрытыми влияниями заставили углубиться именно в эту страничку Гоголя. Впрочем, и Гоголь помог по-иному прочитать и Чехова, и Шолохова.

В концовке «Поднятой целины» мне вдруг показалось важным психологически нераскрытое желание Разметнова прийти на хуторское кладбище, где похоронена его жена, «незабудная» Евдокия. У края осевшей могилы, растирая в ладонях «сухой комок глины», он с особенной горечью ощутил и две другие, еще совсем свежие и старательно ухоженные могилы, что возле школы. Без-

звучно разговаривая с Евдокией, не только у нее, но и у них, Давыдова и Нагульнова, просит он прощения, за все, чем ненароком, быть может, обидел, в чем виноват. Просит прощения и у всех мертвых, ибо, напомним, второй том Шолохов дописывал, когда уже отгремела великая война с фашизмом и братские могилы покрыли землю. Разметнов «долго стоял с непокрытой головой, словно прислушивался и ждал ответа...». За ответом пришел он сюда — за каменную ограду. Но мертвые по-своему разговаривают с нами: «за невидимой кромкой горизонта алым полымем озарялось сразу полнеба...» Никто и никогда не остановит жизнь. Никто и никогда. Но жить надо, как они, с оглядкой на них, чья кровь алеет в алых зарницах...

И о Разметнове непостижимо отчего — именно на этом уроке и в тот день — говорил больше, теплее, чем обычно, а в иные моменты только о нем и говорил, хотя, признаться, Давыдов и особенно Нагульнов по-человечески мне чем-то ближе, симпатичнее. Но тут Разметнов (по вине Гоголя и Чехова) заслони их.

И вот наконец последний урок. Старательно готовились к нему ребята, закладками и пометками обозначая ступени нравственного падения доктора Старцева. Кто-то уже и руку поднимает. Но в душе я все еще с Плюшкиным и Разметновым. Оттого и начинаю не как всегда.

— Это он, Чехов, сказал: «Краткость — сестра таланта». На нескольких страничках «Ионыча» по этапам и ступенькам дана многолетняя история одной человеческой жизни, где все было: молодость, вдохновенная работа, любовь к женщине, мечты... Пять лаконичных главок динамично раскрывают нравственную гибель «приезжего» в мещанско-обывательской трясине «местных». Репликой, словом, а то и просто незаметным «и» умеет Чехов сказать так много. Вот Екатерина Ивановна, «вся розовая от напряжения», закончила играть на фортепьяно. «Прекрасно!» — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению... С этого «и», может, все и началось. Поток камней, падающих с высокой горы, казалась ему игра Котика, но желание быть как все продиктовало лицемерное «прекрасно». Речь, однако, не об этом. Изумительный мастер краткости, лаконичного штриха, Чехов (подумать только!) в небольшом рассказе целую страницу (!) отводит описанию кладбища, где в полночь Котик назначает свидание Старцеву. Чем объяснить столь неожиданную для чеховской манеры «рос-

кошь»? Конечно, всякому ясно, что не Котик, а сам автор «позвал» своего героя на кладбище. Не раньше и не позже второй главы, когда... Но сначала прочитаем эту поистине загадочную и удивительную страничку не только «Ионыча», возможно, и всего Чехова.

Хотя апрельское солнце весело заглядывает в окна и не очень располагает к тому, чтобы вместе с доктором Старцевым и так же бесстрашно, как он, побродить при лунном свете по мягким, осенним аллеям кладбища, тем не менее все той же силой чеховского слова мы — все до одного! — на кладбище. Ребята вчитываются в страничку, на которую — увы! — не легла закладка. Иные и вовсе пропустили ее как пейзажную, к тому же не по-чеховски длинную, где ни событий, ни диалога, ни даже кладбища в обычном, жутковатом смысле. А то, что Котик на свидание не придет, ясно с самого начала. Да и Старцев понимал это, но... «поддался». Я не торопил ребят.

Пусть вместе с героем побродят по кладбищенским аллеям. Не глухую тайну небытия, а вечную загадку жизни вместе с Чеховым попробуем разгадать. Но прежде ответим на вопрос: зачем Старцеву, который уже начинал «полнеть», непременно надо прийти на кладбище? В глупой шутке Котика, начитавшейся маминих романов, возможно, некий зов судьбы? И еще. Почему осенью? лунной ночью? к памятнику Деметти? Да, Чехов дает своему герою последнюю возможность не «поддаться», остановиться в уже начавшемся, но еще не столь заметном и опасном раскате падения. Иначе, по-философски взглянуть на жизнь и нравы города С., на себя. Пережить то чувство, которое волнует многих и которое прекрасно выразил Пушкин: «Без неприметного следа мне было б грустно мир оставить...» Но — лунный свет, таинственные куски белого мрамора, надписи разжигали в Старцеве иные страсти... Герой уже не интересен ни автору, ни нам. Оттого и луна уходит за облака, «точно опустился занавес». Да, занавес в «Ионыче» опустился уже во второй главе. И хотя в четвертой снова вспыхнет и на какое-то время даже разгорится огонек надежды, но тут же и погаснет. В ту далекую полночь за белой оградой кладбища от Ионыча навсегда ушла за облака открывающая нам многие тайны луна... Чехова, врача и художника, волнует уже, собственно, не само нравственное умирание Старцева (это

очевидно), а та неоглядная плюшкинская бездна падения человеческого в человеке.

Так, не подсчитывая, кто и сколько сказал, шел этот урок, рожденный сразу и Гоголем, и Шолоховым, и Чеховым. С тех пор люблю, когда в портфеле несколько «параллельных» книг и ни одной методической «шпаргалки». Да она и невозможна, ибо нельзя учесть, какие именно книги, когда и в чьем портфеле окажутся рядом.

ЖЕЛАЙТЕ СТРАСТНО, ПРЕДПОЛАГАЙТЕ ДОБРОЕ

На одной из лекций спросили: «Как вы работаете с родителями?» — «С какими?» — на вопрос ответил вопросом. Гораздо чаще и охотнее работаю с теми, которые будут: с учениками-старшеклассниками. И на то есть свои особые причины.

В моей учительской практике за много «сентябрей», что неизменно начинались с торжественной линейки, выстроился как бы график постепенного снижения воспитанности у первоклашек. На линейке, впрочем, это еще не так заметно. Но вот под музыку один за другим сквозь плотные ряды счастливых родителей и бабушек, ведомые учительницей, направляются они к дверям школы — и впервые переступают ее порог. Тут-то и начинаются трудности отнюдь не учебного порядка. С виду симпатичные и аккуратные, умиляющие до слез малыши кричат, толкаются, носятся по коридорам, едва не сбивают с ног старших. Авторитет взрослого, будь то директор школы, учитель, уборщица, многим словно неведом. «Бунтуют, если в чем-то ограничиваешь. Допустим, не разрешаешь из учительской позвонить домой. Среди непослушных уже не только милые шаловливые мальчишки, но и под стать им очаровательные девочки. Перед детьми, игнорирующими учителя, школу, ее порядки, древняя искусница Педагогика вдруг ощущает бессилие. Разлаживается годами отработанный и проверенный механизм управления первоклассниками даже у больших, опытных мастеров начального обучения. «Что хочешь — то и дозволено!» — девиз домашнего очага ребята несут в школу, чтобы вслед за мамой и папой «победить» теперь и учителя, а в его лице принципы и нормы общества.

Невинное «детское хамство», скажем так, — серьезные просчеты семьи. Особенно заметны они в школьной столовой. На тарелках почти нетронутыми остаются умятое и с любовью приготовленные борщи, котлеты, оладьи...

В школьных коридорах после первой же перемены часто увидишь на полу слегка надкусанные яблоки, растоптанное печенье, недожеванные конфеты... Многие родители от чрезмерной любви к единственному Максимке или Аллочке легкомысленно пренебрегают системой ограничения, с малых лет формируют в ребенке убежденного эгоиста, необузданного потребителя. Не часто у прилавков «Детского мира» услышишь сегодня трогательное «Мамочка, пожалуйста, купи...» Многие не просят, а требуют, почти приказывают, одерживая победу над слабостью и легкомыслием родителей. Мне знакома девочка, которая уже в семилетнем возрасте, разгадав «секреты» нашей уступчивости, объявила родителям «голодовку», если они не разрешат ей смотреть телевизор сколько хочется. И что же? Разрешили. Сдались. А ведь дети, победившие родителей, гибнут нравственно. На каждом шагу досадные просчеты заботливой любви взрослых. В автобусе отец усаживает шестилетнего сына-здоровяка на сиденье, с которого предупредительно встал пожилой мужчина. Мальчик сел, поглядывая на всех свысока, как турецкий султан. Кто-то с явной иронией взглянул и на него, и на отца. Доброе, человечье, шевельнулось в ребенке... «Сиди, сиди!» — успокоил отец, перекладывая из одной руки в другую тяжелую сумку. Всё как будто по правилам: ребенок! Но уже сейчас видишь, каким он вырастет.

Как-то я спросил десятиклассника: какие черты характера, привычки, взгляды он унаследовал от отца, матери, а какие выработал сам? Растерялся и толком не ответил. Во-первых, все десять лет занимался литературным героем, который был важнее отца, матери, его самого; во-вторых, сам был «героем», которым и ради которого жили отец, мать. А юноша, не знающий духовных истоков, даже при живых родителях и вполне благополучной семье, вроде как беспризорник.

Иных это, впрочем, волнует теоретически. «Школа не воспитательный дом, а университет знаний. Заботу и чуткость вы получите от родителей, а я обязан научить вас», — высказал ребятам свою позицию один мой коллега-словесник. Но если между домом и университетом возведен такой барьер, то не вынут ли фундамент из-под того и другого сразу? При такой позиции, когда семья зачастую не может, а учитель высокомерно не хочет формировать нравственные основы личности ребенка (куль-

туру чувств, поведение, привычки и т. д.), может ли завтрашний первоклассник быть лучше сегодняшнего?

Вот и решил однажды по страничкам литературы в необычном жанре родительского собрания провести урок в десятом классе: как воспитывали своих детей знакомые нам литературные герои? С интересом готовились десятиклассники к этой беседе, понимая, что многие грани учебной и жизненной зрелости проверит она. Ведущим и комментатором урока-собрания выбрали меня, хотя эту роль мог бы выполнить и ученик. Еще азартнее и веселее, возможно, пошел бы разговор.

Решили сразу: заменять воспитание питанием, тем более избыточным, как это делает госпожа Простакова («Недоросль»), — ошибка и наисерьезнейшая, в некотором смысле роковая. Как, впрочем, и попытка матери «приблизить» сыночка, компрометируя отца.

Детство Онегина напомнило о другом. Гувернер, воспитывавший Евгения, «не докучал моралью строгой. Слегка за шалости бранил...» По натуре резвый ребенок фактически оказался вне ограничений — материальных, нравственных, каких угодно. Это развил в нем бешеную, безудержную страсть наслаждений. И вот он финал: «рано чувства в нем остыли».

— Прав ли отец Чичикова («Мертвые души»), когда наказывал сыну: «копейкой все прошибешь»?

Мнения разделились. Для того времени, говорили одни, прав. Другие возражали: не прав даже для того времени, а вот беречь копейку действительно надо.

— Кстати, можно ли давать ребенку деньги?

Обсудили и это. И опять вернулись к «Онегину». Отец Татьяны, к примеру, «не заботился о том, /Какой у дочки тайный том /Дремал до утра под подушкой». Да и Фамусов («Горе от ума») не очень вникал в круг чтения своей дочери. Надо ли контролировать, что читают наши дети? Старик Болконский («Война и мир») на этот счет имел свое мнение: не только книги, но и письма! Снова заспорили. Книги — можно, письма — ни за что! Посоветовал не торопиться с выводами. Контролировать надо всё, тем более письма. Только как это сделать, не унижая достоинства?

— А теперь подумаем, что сближает (в плане воспитания детей) Простакову, Кабанову и Головлеву, породивших соответственно Митрофанушку, Тишу, Иудушку?

Размышляем недолго: в собственном ребенке материнским эгоизмом и властью можно воспитать и

свою жертву, и своего палача, нередко то и другое, а в общем — урса. Количество детей значения не имеет. У Простаковой — всего один, у Кабановой — двое, у Головлевой — несколько. Больше детей — больше и разлада, если кто-то в «любимчиках», а остальные — «постылые». Между прочим, сколько детей иметь? Сходимся на цифре три. Дети еще и сами себя воспитывают. Особую роль играет здесь третий.

Придали значение печоринской мысли, в серьезность которой не только Мери, но и мы искренне поверили: «Да! такова моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились». Искусству читать лицо ребенка, своего или чужого, надо учиться.

— Дети «выдают» нам все, что мы хотим: предполагаем это — вот, пожалуйста; другое — будет и другое; что-то еще — появится и оно. Очень важно предполагать доброе, хорошее уже с того момента, когда вы счастливы, но еще не совсем уверенно скажете: «А у нас, кажется, будет крошка!» С этого момента психологически (!) начинается судьба ребенка. Никаких колебаний и сомнений на его и свой счет. Он есть, он будет и — обязательно хорошим! Все признаки говорят об этом, и самый главный — ты ждешь, ты любишь его. Как Наташа Ростова. Вспомним ее отношение к сыну, которого она «страстно желала». Если желать и ждать, то только так — страстно!

«Лишь деточек не трогайте!» — слышали и голос некрасовской Матрены. Любые напасти, обиды гордо сносит она, защищая в своих детях кусочек безмятежного детства. Саму же Матрену уже на «пятом годку» приучали к нелегкой крестьянской работе. Подсчитали «трудоу стаж» Матрены: если ей тридцать восемь, значит... Вся жизнь в труде! Не в этом ли секрет ее здоровья, выносливости, душевной и женской красоты? Может, и в самом деле на «пятом годку» надо приобщать ребенка к серьезному, социально полезному труду? И снова к Матрене. «Мы были однолеточки», — говорит она о себе и своем муже Филипушке, которого любила и которому была верна.

— Быть или нет однолеточками, создавая семью?

Большинство «родителей» за то, чтобы быть. В этом они усматривают причину семейного лада.

— Матренин голос «лишь деточек не трогайте» посвоему слышен и в другом произведении. В каком?

Приятно видеть ученика, уходящего в себя, в кладовые памяти, ощутившего тишину собственных исканий. Но еще приятнее, когда тишина эта нарушается и правильным ответом, и верной интонацией.

Коль это не просто родительское собрание, а прежде и главным образом урок, задание — необходимо. Рекомендую, нет, обязываю (!) прочитать «Драматическую педагогику» А. Лиханова. Доволен, что в запасе еще несколько минут. Обязать, рекомендовать — это начать разговор и интригующе оборвать, чтобы продолжили. Фрагменты публицистической педагогики, а точнее, мои раздумья о книге завершат один урок и начнут другой — внеклассный.

— Не ощущая в полной мере своего человеческого долга перед людьми, мы зачастую бессильны выполнить его и перед собственным ребенком, ибо толком не знаем, для чего, зачем дали ему жизнь и, следовательно, чему и как учить, что воспитывать. Ведь дети не просто для нас и не только для самих себя — для людей, для мира, для лучшего в жизни. Воспитание, стало быть, процесс в такой же мере общественный, как и семейный, а педагогика — та сфера, к которой причастен каждый. «Драматическая педагогика: Очерки конфликтных ситуаций» — так назвал свою книгу известный писатель А. Лиханов. Очень точно. В драматизме ситуации педагогика действительно открывает нам свои тайны. В их числе и эту. Как быть взрослым, когда рядом дети? И много. И всего один. Но один этот — твой, кровный, единственный. Для которого ни души, ни кармана, ни себя не жалко. Ситуация, не правда ли? Конфликтная? Та самая, которая испытывает и разум, и сердце. Как и характеры, конфликтные ситуации различны. И чтобы разрешить их педагогически верно, т. е. нравственно, нужно в конечном счете одно: и на самую малость не упрощать проблем, что всерьез и тайно тревожат отроков. Конфликты не возникают от гармонии. В их основе всегда — душевная драма, которая, впрочем, внешне не всегда заметна. Но обманчив благополучный лик подростка, не осознавшего своей беды, пока она не стала реальной, т. е. увиденной всеми. Точка зрения А. Лиханова мудра и однозначна: в любой беде, коснувшейся ребенка (и в этом внутренний пафос книги), повинны кто-то один (отец, мать, учитель) и все мы — люди, в безучастной, а нередко и соучастной роли посторонних. Как шагнуть к выходу... Книга могла бы и так называться. Ибо речь

идет и о тех, кто не без нашей «заботливой» помощи на переломе лет вдруг оказался в темной подворотне, грязном, но укромном подвале, в тисках горчайшего одиночества, а в общем, в тупике, в трагическом разладе с собой. О том, как найти выход из тупика, как защититься от эрозии души растущего человека, размышляет вместе с нами писатель. В этой книге вы узнаете об инфаркте... в семнадцать лет и поймете, что даже в родительской безграничной любви должна быть разумная мера. Прочитаете и о том, как вместе с «конфискацией имущества» можно потерять единственного сына; какие слова надо говорить о новой кофточке или костюме, когда их примеряешь на себя в присутствии детей... Словом, размышлите и прочитайте.

Как и других, меня тоже волнует, что ребята несут в школу из семьи; но с годами и с каждым годом все больше — что они понесут из школы в семью, какими родителями станут. На внеклассном часе обсудили книгу А. Лиханова и связью «урока» и «часа», укрупнив разговор, по-своему оказали помощь сегодняшней и завтрашней семье.

ДОЙТИ ДО АДРЕСАТА

Общаясь с ребятами, стараюсь понять нравственную ориентацию каждого из них и устроить неожиданную встречу с литературным «двойником».

Из всех человеческих пороков мне больше всего ненавистен карьеризм, радеющий лишь о собственном благополучии. Безликое и убогое, «склизкое, как мокрушка» (скажу словами шолоховского Нагульнова), конъюнктурное «я».

Уже в сентябре я знал, что в марте будет этот урок. Разговор с одним определит интонацию, «сверхзадачу». Этот один не «жертва» и не «козел отпущения», а некая типизированная фигура, в которой многие увидят и себя. Отсюда — магнитное поле урока и, конечно, внимание того, с кем буду «говорить».

И вот он пришел, голубой март, а с ним и долгожданная тема: «Дворянские карьеристы в романе «Война и мир».

— Иной, пожалуй, скажет: Пьеру легко быть не карьеристом — у него миллионы! И Болконскому — талантлив! А Борису — нищему или Бергу — безродному каково?!

Смотрю на «инога», он — на меня, потому что заговорил его голосом.

— В самом деле, каково? Борис и Берг без таланта и миллионов в своей среде пропадут. Как сделать карьеру — их тайный, неотступный вопрос. На него и попытаемся ответить. На всякий случай достанем тетради. Кое-что, видимо, придется записать.

Саркастический подтекст урока угадан. Но учиться — так учиться! Достают тетради.

— Мы говорим: Болконский — умница! Герой Аустерлица! Это он, «схватив дrevко знамени и с наслаждением слыша свист пуль», крикнул: «Ребята, вперед!» Но разве так делается карьера? Знамя, пули, вперед — не серьезно. Борис Друбецкой иного мнения. Хоть он и помоложе Болконского, а истинный мудрец: «...для успеха на службе были нужны не усилия, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только уметь обращаться с теми, которые вознаграждают за службу, — и он (Борис. — Е. И.) часто удивлялся своим быстрым успехам и тому, как другие могли не понимать этого». Уже с некоторой высоты положения (адъютант!) сочувствует он «другим». Мы не увидим Бориса возле крутящейся гранаты, как, например, Болконского. Зачем? Возле Кутузова, Бенигсена — безопаснее и выгоднее. Однако из каких неписаных правил состоит это, в общем непростое «уменье» обходиться с теми, которые... Кое-что уже выяснили: почаще находиться *возле*. А еще? Привлечь внимание безукоризненным внешним видом! Не оттого ли Борис «последние свои деньги» употребляет на то, чтобы быть «одетым лучше других»? Заметьте: не быть лучше (этого не надо, и это, кроме того, опасно), а быть одетым лучше. Одежда — один из важнейших компонентов карьеры. Деньги, потраченные на нее, впоследствии окупятся с лихвой. Не приведи бог «ехать в дурном экипаже или показаться в старом мундире на улицах Петербурга». С некоторых пор столичный Петербург Борис любит больше, чем хлебосольную Москву, где в семействе Ростовых прошла его юность. Полагаю, догадываетесь почему? Но мы не сказали еще об одном. «Сближался он и искал знакомств только с людьми, которые были выше его и потому могли быть полезными». Кто попадает в знакомые Бориса? А главное, как завязываются знакомства? В ходу уже иной арсенал средств: нужно «носить» приветливое, иногда подбострастное, но всегда дружелюбно-открытое лицо — артистическое,

как и полагается карьеристу, знающему наши слабости, чтобы без особых трудов и усилий использовать их. Ведь таких, как старик Болконский, способных вмиг разгадать «улыбчивых» друбецких, бергов, курагиных, в том обществе было немного. Итак, не тратить силы попусту на людей бесполезных, хотя и приятных. По этой причине Бориса давно уже не влечет к Ростовым. Он способен обмануть и себя — неприятным воспоминанием о своей «детской любви к Наташе». В умении устраиваться Борисы всё умеют! Ни в коем случае не поддаваться эмоциям — «внимательно наблюдать каждое лицо и оценивать выгоды и возможности сближения с каждым из них».

На мгновение останавливаюсь. Одних ребят полуиронично упрекаю, почему не записывают, других (почти всерьез) — почему записывают так старательно. Игра интонаций, намеков. А теперь вопрос. Всякая карьера поначалу требует расходов, денег. Иной раз «последних». А если нет — где взять? Срочно и много?

— Не просто это — подавить внутреннее отвращение к женщине, некрасивой, но богатой, с которой тебя свяжут узы брака. Тем не менее Борис объясняется в любви Жюли Карагиной, высказывая теперь особо тонкое умение «вспыхнуть румянцем» нежности. Но самые первые слова он скажет себе: «Я всегда могу устроиться так, чтобы редко видеть ее...» Устроиться... Этим Борис живет даже накануне Бородинской битвы. Не Москва и не ополченцы, а самопродвижение всецело волнует его. Хотя Борис и военный, в чинах, но — не солдат, и даже не офицер, в понимании Толстого, которому ненавистна всякая карьера: чистая или грязная. Карьера — это разрушение мира своей индивидуальности, своего «я»; это — «глядеть в Наполеоны», а не в Каратаевы. Но вернемся к теме...

Кодекс «умений» теперь дописывают другие герои Толстого: Берг, князь Василий, Элен... В их число неожиданно попадает и один мой бывший знакомый, ныне преуспевающий, окруженный друзьями-«ступеньками». Живем мы с ним в одном городе, но в разных концах и — в разных эпохах. Для меня подняться выше — это встать ближе к ребятам, к школе; для него — уйти подальше и от них, и от нее. Ему — по пути с Борисом и Бергом; мне — с Болконским, которого не в штаб и не в свиту, а в полк, к солдатам потянуло.

Тот, с кем я весь урок «разговаривал», раздумчиво

что-то чертил на обложке закрытой тетради. Иные, глядя на меня, в себя смотрели. Другие будто что-то припоминали. Углубим духовную работу домашним вопросом: отрицательное (Берг, Борис, Элен...) у Толстого не развивается, а положительное (князь Андрей, Пьер, Наташа...) растет. Почему?

Сколько учеников в классе, столько и возможностей к неповторимому, как и сам ученик, уроку. Каждого из тридцати (они не знают об этом) одариваю персональным, нацеленным только на него уроком. Иногда двумя, тремя — в зависимости от степени и характера педагогической помощи. Каждому свой урок! — таков мой девиз. Известно, что в анализе участвует не вся книга, а лишь какие-то главы, страницы. И это вполне объяснимо: работаем с классом, а не с учеником. А если наоборот? Странички всякий раз будут обновляться. Сегодня (!) с этим (!) поговорит эта (!), а завтра (!) с другим (!) другая (!). А там и новые на очереди... Вот и прочитана — постранично! — в необходимом количестве персональных уроков вся книга. Главное — дойти до адресата. На этом уроке, пряча сарказм, я «всерьез» учил секретам, которые знали князь Василий, Берг, Борис... Но чем серьезнее становилось мое лицо, тем больше умной, сдержанной иронии ощущал я в ребятах. Ничто так не воспитывает, как смешное! Посмеялись — запомнили. Активностью души отреагировали на работу ума. Всякий ли, однако, захочет, а вернее, сможет число уроков сделать адекватным количеству учеников? По силам ли это вообще, даже опытному и умелому? На этот счет скажу: всякая работа с человеком где-то не по «силам». Тем не менее нет ничего увлекательнее (попробуйте!), разумнее (испытайте!), эффективнее (проверьте!), чем выстроить урок для кого-то одного, видя перед собой всех и всю книгу. В каждом уроке должна присутствовать мысль: «Это тебе (!) урок и ему (!)»; «А это — только тебе!»; «А вот это...» Когда странички связывают не только книгу с книгой и героя с героем, но и Мишу с Сережей, их обоих с учителем и классом, то не только учитель, но и ребята заинтересованы в количестве страниц. И уже не четырехтомная «Война и мир», а тоненький «Разгром» пугает: хватит ли на всех страничек?

Впрочем, не всегда идешь от адресата к тексту. Бывает и наоборот: текст найден, а вот адресат неизвестен.

НЕПРОЙДЕННАЯ ТЕМА

Десятиклассница Ирина В. с тревогой шепнула: «Подружку привела. Пусть на уроке посидит. Переживает. Парень ее бросил...»

Значит, не напрасно размышляли над репликой Софии Мармеладовой: «Вместе страдать будем...» Однако не позавидую учителю, которому в считанные секунды надо выбрать тему для одного и, как поется в песне, «чтоб никто не догадался». Чуть дольше обычного заполнял журнал, проверял задание, с кем-то о чем-то поговорил... А тем временем лихорадочно искал тему урока, тон разговора.

Преданный Софьей Чацкий, отвергнутая Онегиным Татьяна, обманутая Печоринным Мери, покинутая (хотя и любящим) Борисом Катерина, нравственно изменившая князю Андрею Наташа, брошенная негодяем и сутенером Любовь Раневская, не принявшая запоздалую любовь Корчагина Рита Устинович, грумящаяся над Давыдовым Лушка... — прошли перед мысленным взором, будто на киноленте. По-разному реагируют отвергнутые, брошенные, обманутые на боль и страдание. Едва не начал разговор об этом, но — остановился. Слишком уж прозрачно, нарочито. Однако взял на заметку любопытный вариант урока, который пусть не сейчас, но когда-нибудь состоится. В таком случае что же сейчас? И вот тогда я подошел к полке, на которой, как солдаты в строю, готовые к бою, стояли книги — начиная от древнего «Слова» и кончая Федором Абрамовым, Юрием Бондаревым. Снова повторю: очень важно, чтобы в классе были все рабочие книги, а не только та, которую разбираешь. Такая библиотечка по-своему тоже участвует в рождении урока. И так, какую книгу снять с полки? Приоткрою еще один небесспорный секрет. Иную тему приурочиваю к какому-нибудь конкретному жизненному случаю, событию, факту. Когда случая или факта нет, а тема островоспитательная, пропускаю, точнее говоря, придерживаю ее. Объявится случай, возвращаюсь к книге, которую оставил открытой. Не объявится? Приемлемо и это. Нет лучшего способа повторить книгу непройденной темой. В своей практике пользуюсь и тем и другим.

В тот день взял... «Отцы и дети», где оставалась еще не вынутая и видимая лишь мне закладка, тот заранее предусмотренный «пропуск», который нашел своего адре-

сата. Я попросил ребят записать тему строкой романа: «Обманываться нечего: мы прощаемся навсегда...» Класс тотчас узнал реплику Базарова, обращенную к Аркадию. Об идейном разрыве двух приятелей, назревавшем уже с самого начала романа, когда-то говорили, но вскользь, как об очевидном. Теперь, должно быть, на новом учебном витке возникла потребность углубить разговор. Так думают ребята — все, кроме Ирины.

— Не правда ли, жуткое слово «навсегда»? Не то что произнести, подумать иной раз страшновато. Боясь сказать или услышать его, многие обманываются. И — обманывают. Половинчатая дружба, любовь, семья — не отсюда ли? Базаров и его приятель пока еще связаны нитями дружбы, но их взгляды на жизнь разошлись. По характеру мягкотелый, Аркадий не признается в этом ни себе, ни другу. За него это делает Базаров. «В тебе нет ни дерзости, ни злости...» — укоряет он. Разозлиться на других и на себя иногда очень件 полезно. Только так и можно сохранить в себе гордого, сильного человека. Кстати, «злость» в гораздо большей степени, чем принцип «не говори красиво», помешала Базарову сказать напоследок «нежные» слова, которые Аркадий почти просил. Частица базаровской злости, полагаю, должна быть в каждом, ибо это защитит от расплывчатости, безликости. «Злостью», кстати, спасаем не только самих себя, но и тех, кто по натуре зауряден, слаб, как Аркадий, но, набиваясь в друзья, единомышленники, воображает себя молодцем, а затем — предает. В житейском смысле он, однако, удачливее Базарова. У него, пишет Д. И. Писарев, «гораздо больше шансов понравиться молодой девушке, несмотря на то, что Базаров несравненно умнее и замечательнее своего юного товарища». В том даже не столько заслуга самого Аркадия, сколько странная особенность некоторых молодых девушек. Вот что об этом говорит тот же Писарев: «Женщина, способная увлекаться чувством, как существо наивное и мало размышляющее, не поймет Базарова и не полюбит его». О том же говорит и сам Базаров: «Иная барышня только оттого и слывет умною, что умно вздыхает...» Впрочем, сестра Одинцовой, наверное, не из таких. Но человеческое в Базарове, как и во всяком из нас, ранимо. Он не летит слез, подобно Аркадию, тем не менее душа в нем плачет: «Ну что ж, обняться, что ли?» Но обняться — обмануться! Тут же звучит: «Прощайте, синьор!» Теперь ни слов, ни жестов. Теперь только это: «Телега задрезбжала и по-

катилась». В самом деле, могут ли летать вместе орел и галка, как Базаров называет Аркадия? Ехать в одной телеге — сынор и внук пахаря? Оставаться в друзьях — волевой и восковой, самолюбивый и самолюбующийся, бесстрашный философ и «неженка», жаждущий дела демократ-разночинец и прекраснотушный, словоохотливый либерал? «Обманываться нечего». Навсегда, значит? Навсегда!!! Перед смертью Базаров с трудом припоминает имя своего недавнего друга. Вот так надо прощаться с теми, кто нас предает.

Рассказывая, я изредка поглядывал на Ирину. Ее лицо было строгим, одухотворенным, словно повзрослевшим. Порой она незаметно поглядывала на подругу: дескать, учти! сделай вывод! вот как надо! С не меньшим интересом слушали урок и остальные. Жизнь — штука сложная, и готовить себя к ее перипетиям — наша общая обязанность. Однако какую ниточку легче оборвать: дружбы или любви? Класс точно ждал этого вопроса. Мнения разделились. Ирина горячо доказывала, что с каждым, кто предает тебя, — будь то горячо любимый человек или старый, испытанный друг — рвать надо немедленно, не прикидывая, во что это обойдется, скольких горьких минут, дней или даже месяцев стоит. И потом: отходя от Аркадия, Базаров тем самым разрывает и с Одинцовой, хотя и любит ее. В этом-то и есть его духовная победа: любя, разорвать. Между прочим, о любви Павла Петровича к княгине Р. читателю (целой главой романа) рассказывает его племянник Аркадий. А о любви Базарова — автор, потому что никто о ней, кроме Одинцовой и Базарова, не знает. Вот это человеческое достоинство! Глубина характера!

С изумлением смотрели ребята на Ирину: так она еще никогда не выступала! Но «никогда» было отзвуком базаровского «навсегда».

...Класс опустел, я снова поставил на полку «Отцов и детей»: учебная программа «по Тургеневу» выполнена!

НЕ ЗАМЕТИЛИ — УВИДЕЛИ

Уже много лет мои уроки — открытые. Не предупреждая, всякий может сесть на «боковые» места. Когда гостей чересчур много, нередко отдаю свой стул, а ребята кое-как по трое умещаются за партами. «Покажите в своей работе это, то», — просят гости, попав на урок, «как Чацкий, с корабля на бал». Буквально с корабля,

чаще с самолета и тоже, как Чацкий, всего на один день. А завтра или даже вечером гости тем же маршрутом обратят: во Владимир, на Камчатку... Хорошо, если тема позволяет показать и это, и то. А если только «это»? Изменить «очередь» уроков в тематическом плане? Иной раз, буду откровенен, так и делал. Но всегда было неловко за свой «праздничный» урок и особенно за тот, который отодвинул. Не лучше ли себя придвинуть к резервам темы — раскопать в ней и то, о чем просят?

...И вот снова гости. На этот раз — московская телестудия «Русская речь». Просят показать, как работаю со словом. Если бы чуть пораньше: на Платоне Каратаеве («Война и мир») всё бы показал, а сейчас — Кутузов... Но гостям подавай «речь», а не философию о «представителе народной войны», и чтоб всем было интересно. Обо «всех» не думал, но как заинтересовать сорок «своих», да еще перед камерой? Может, Кутузова раскрыть через его знаменитую речь перед Преображенским полком? «Товарищи», «братцы», «ребята» — называет он солдат. Но разве это наш уровень урока? Камера, может, и примет, а ученики? Если не для них, то вместе с Кутузовым, как говорится, уйду за «кадр». Не глазок камеры, а глаза ребят заставили искать что-то другое. Нужен урок Слова.

Съемки будут завтра. Но самого урока в том варианте, какой нужен гостям, ребятам, мне, думаю, и «всем», пока нет. Предупредили: снимать будут минут 15—20 (лимит пленки), а затем камера и освещение погаснут — и урок пойдет, как обычно. Если бы так, если бы как обычно. Не погаснут ли вместе с софитами и лица ребят? Такое бывало, когда не с ними, а с камерой работал. Чтоб не погас свет урока, нужен разговор на самом высоком, жгучем накале духовного освещения.

Перелистывая «Войну и мир», на себе самом понял «вечернее» состояние солдат накануне Бородинской битвы. Но не с нее, не с 12-го года, а с октября 1805-го, пожалуй, начну завтрашний разговор.

— Кутузов осматривает полк. Две тысячи людей «не дыша смотрели на него». Не в парадной, а походной форме, «без всяких приготовлений», велено выстроить солдат. Впрочем, не только он, но и они ему делают «смотри». Толстому-художнику очень важно оценить Кутузова мнением простых, безмянных солдат, той «мыслью народной», что владела писателем, когда он работал над романом, и часто выражала себя в какой-нибудь

мимолетной, будто вскользь брошенной реплике, точном, метком слове — разговорном, услышанном, а не вычитанном. Что думают солдаты о том, кто в окружении пышной свиты шел «медленно и вяло мимо тысячи глаз»?

«— Как же сказывали, Кутузов кривой, об одном глазу?»

— А то нет! Вовсе кривой.

— Не ...брат, глазастей тебя, и сапоги и подвертки все оглядел...»

— Вот оно то самое простонародное меткое словцо, ухватившее главное, существенное в Кутузове: он — **глазастый**. Как понимать это?

Заговорили ребята.

— Всевидящий. Потому что **всё** оглядел. Не только сапоги, подвертки — душу, настроение солдата.

— Внимательный. «Останавливается» возле тех, кого знал еще по Турецкой войне.

— Проницательный. Как он «поспешно отвернулся», улыбнувшись, от Тимохина, который «вытянулся» перед ним!

— Угадывающий. Совсем иначе, поморщившись, отворачивается он от Долохова, готового разорвать «завесу условности».

— Настороженный, бдительный. «Кутузов обернулся», когда позади услышал смех в адрес капитана Тимохина.

— Сосредоточенный. Возле третьей роты постоял, припоминая что-то...

— Неторопливый. Не потому, что идет медленно, а вглядывается в каждую подробность.

С каким-то особым, игровым интересом подбирали ребята синонимы к слову *глазастый*, не отступая от глубинного смысла, что заложен в этом слове гением Толстого. Однако какой из синонимов более полно раскрывает слово?

Задумались. Поспорили. И появился новый синоним: *зоркий*. Кто-то из ребят высказался почти афоризмом: зоркость — это духовное зрение. Верно. Можно иметь оба глаза — и ничего не видеть. А можно и с одним, как Кутузов, быть глазастее многих. Ведь не только же глазами — умом, сердцем, опытом воспринимается мир. Что хотим, что нужно, что должно увидеть, то и видим. На остальное — смотрим, что-то и вовсе созерцаем, а иное будто скрыто темнотой. «Глазастый», в толстовском понимании, духовный. Значит, и душевный.

«По нескольку ласковых слов» было сказано офицерам и солдатам, которых Кутузов помнил в лицо.

— Не к такому ли зрению зовет нас Толстой, когда окружающий мир видится, как сказал бы Гоголь, «думающими глазами»? Кто же еще из героев Толстого «глазастый»?

Вопрос дает возможность по-кутузовски «всё оглядеть» в романе с позиций нравственного интереса к литературному герою и к собственному умению проявить читательскую зоркость. В галерею «глазастых» попадают прежде всего безмянные солдаты: и тот, что увидел в «кривом» Кутузове истинного полководца, и те трое, которые в темноте разглядели, что Пьер голодный, усталый, и пригласили к костру. А Платон Каратаев? Совсем не случайно шьет французу рубаху: чует близкую (зимнюю!) беду наполеоновской армии. А Наташа и Марья, увидевшие в Пьере «нового», «свежего» человека, сбросившего в стихии народной войны бремя внешнего, наускиного?

— Самая яркая речевая примета глазастого человека?

Заспорили. Высказываю и свою точку зрения: лаконизм. Вот когда обсуждаем «речь» Кутузова. Хотя он и полководец, и фельдмаршал, но и в нем живет безмянный солдат, меткой народной лукавинкой умеющий осмыслить и выразить глубинную суть увиденного.

Все больше входили ребята в азарт духовно-нравственной, а не просто лексической работы. Им тоже хотелось сказать коротко и весомо о том, что вдруг открылось перед ними в тексте романа. Но искать такие слова надо у него — великого художника. Стоп! Шестилетней Малаше, наблюдавшей схватку Кутузова с «длиннополым» Бенигсеном (военный совет в Филях), Кутузов показался «дедушкой». Лукавым и добрым, русским, т. е. родным, если опять же по-толстовски истолковать слово. Тот, кто истолковал, сам же и предложил: соединить слова в некую емкую формулу, одновременно раскрывающую и гениальность, и народность Кутузова, — «глазастый дедушка». Толстой-художник, по существу, исследует и раскрывает именно эту формулу. С поправками и оговорками ребята приняли «сотворчество» своего одноклассника с великим писателем. Более того, предложили изменить тему. Вместо «Народный полководец...» записать: «Глазастый дедушка» по роману...» Образная конретика слов, усиленная их синтезом, заворожила.

Увлеченные, мы не заметили, что камера давно уже не работает. Обрадовались: и тому, что не заметили и что не работает. Кроткий, насмешливый глаз Кутузова, который то шурился, то вовсе закрывался, имел над нами несравненно большую власть, чем глазок камеры. Впрочем, кое-кто из ребят нет-нет да и поглядывал на камеру, иные делали это не оборачиваясь. Тех и других, помнится, оторвал от нее и приковал к себе вопросом: глазастый и глазающий — в чем разница? Новый всплеск общего интереса к слову. Рядом с пытливыми и зоркими — в романе и в жизни — предстали праздные, бездумные созерцатели. Пустое любопытство в минуты напряженной, творческой работы, наверное, тоже черта созерцателя? Уже как бы открыто намекнул своим подопечным, проявившим излишний интерес к внешней стороне урока: чтобы увидеть, надо кое-что не заметить. Подумали — и записали в тетрадях как еще один нравственный итог урока.

Но было и другое, что помогло ребятам не заметить камеру.

НЕВЗЯТЫЕ ВЫСОТЫ

Много лет назад, когда я еще только начинал работу в школе, услышал: не ошибся ли, дескать, адресом, может, не в класс, а на сцену надо? На открытом уроке я комментировал «Мертвые души». Поохотать было нашей главной целью. Иначе как ощутишь живое в Гоголе и мертвое в его героях, в Чичикове например? Кстати, о нем-то и шла речь. Как он готовился к балу! Не очаруешь — капитал упустишь... «Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, но с некоторой улыбкой, то просто почтительное, без улыбки... Наконец, он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты, мордашка эдакой!» и стал одеваться». И когда я жестом Чичикова тоже «слегка» трепнул себя по подбородку, класс взорвался хохотом. Все вдруг увидели облик и сущность «рыцаря копейки». Увидели — запомнили. Не раз слышал на классном собрании или в школьном коридоре, как кто-то из ребят говорил другому, замыслившему недоброе: «Ах ты, мордашка эдакой!» Слова Гоголя входили в наш обиход крылатыми выражениями.

Коллеги, что от души хохотали вместе с ребятами,

обсуждая урок, засомневались: может, не только над Чичиковым, но и над учителем — в такой-то вот роли! — смеялись? Может, не надо изображать? Пусть даже и слегка? Школа не сцена, урок не спектакль, учитель не артист. Всё так: не сцена, не спектакль. Но учитель, словесник тем более, — артист! И не только в душе — в игровой подаче каких-то особо важных, ключевых деталей текста, имеющих нравственный резонанс. Хотелось ли сыграть «всего» Чичикова, т. е. сообщить своему лицу «то важное и степенное, то почтительное, но с некоторой улыбкой, то просто почтительное без улыбки» выражение? Как и он, сделать «кое-что языком» и т. д.? Да, хотелось. Тем не менее я ограничился лишь одним (!) жестом и интонацией. Сыграть «всего» Чичикова означало бы уйти от себя как учителя, от ребят, ждущих серьезного разговора о нем, от Гоголя, в смехе которого надо было увидеть и слезы. Артистическое контролировалось учебным: вкусом, интуицией, отнюдь не игровым желанием и настроением ощутить самому и донести до ребят духовный потенциал книги.

Откроем томик Маяковского. Посмотрим на оглавление: марши, гимны, оды, песни... Сплошная музыка! А на уроке, как в немом кино: видят, но не слышат. И грам-пластинка не выручит. Дотянуться до самых тончайших, сокровенных струн души школьника по силам лишь учительскому голосу, когда он есть и когда он художественно, а не просто фонетически поставлен. Словесник-артист не спешит использовать репродукции, диафильмы и прочую наглядность. Рука — главное техническое средство в зримом оформлении урока. Когда она развернута в ладонь — это **картина**, иллюстрирующая слова и иллюстрируемая словами; поднятая вверх или на кого-то направленная «указующим перстом» — **акцент**, требующий внимания, раздумий; сжатая в кулак — некий **сигнал** к обобщению, концентрации сказанного и т. д. Мне все не обязательно было показывать, каков Чичиков, на репродукции. В ролевом комментировании он сам по себе предстал живым, наглядным.

Артистизм не прихоть и не своеобразие манеры, а важнейшее **учебное средство**, без которого сегодня не работает книга. Как-то я дал ребятам сочинение: «Учитель, которого ждут...» И что же? Кого ждут школьники? Умного — да; эрудированного — конечно; умеющего — безусловно. Но у всех на первом плане стояло: интересно! оригинально! с выдумкой! Чтобы разом хотелось

что-то очень важное записать за ним и в то же время посмотреть, посмотреть на него: на весьма занятную и сложную игру слов, жестов, интонаций, мимики, позы и паузы. Кино, телевизор давно уже не только наши современники, союзники, но и опасные конкуренты, указывающие на необходимость парты сделать партером. И ученики — уже не просто «класс», «кабинет», «аудитория», в немалой степени зрительный зал! Лишь на уроке искусства и средствами искусства можно убедить ребят, что урок литературы нужен и интересен, а себя — в возможности быть художником своего урока: сценаристом, режиссером, исполнителем, взыскательным критиком, знающим свои промахи и достоинства, литературоведом, умеющим научно объяснить свой и ребячий интерес к книге. Художественную мысль, не разыграв, не создав сценического сюжета (в условиях сегодняшней школы, призванной учить и научить всех, и нашего поистине бурного, динамичного времени, высвеченного голубым светом экрана), всерьез исследовать невозможно. Лишь там, где урок — искусство, есть место искусству. Во всех иных случаях имеем дело с пресловутой «галереей» образов, фигур, персонажей, куда неожиданно попадает и словесник-академик как один из «типичных представителей» неживой, незримой литературы. Не знаю, как другие, но мне всегда хотелось сказать и доказать ребятам, порой неистово, страстно, с той неразгаданной, захлестывающей тебя самого магией внушаемости, на какую способен, быть может, только артист, что все, о чем говорю им, — правда! правда! Иначе бы не «тратился», а воспользовался дежурной «методикой», когда, предположим, рассказывая о Пушкине, можно параллельно думать и о тех покупках, которые предстоит сделать для своих домашних в конце рабочего дня.

Нет, учитель не только проводник знаний, он создатель культуры, притом и самой тонкой — душевной. Как в театре, ему нужен дружный эмоциональный отклик тех, с кем он общается, — ребят. Необходимо их внимание. А внимание — когда чего-то очень ждут. Чего? Такого же умения войти в «образ», какое по вечерам демонстрируют на телеэкране прославленные актеры. Иначе говоря, осмысливать художественное произведение и приемами экрана; создавать иллюзию внезапно ожившего героя непосредственно актерской способностью учителя, не превращая урок в лицедейство, балаган. Не раз замечал: когда словеснику не хватает остроты, душевности,

эстетизма и артистизма, а попросту таланта, он впадает в «научность», чем-то напоминает гоголевского прокурора с очень «серьезным лицом», на котором читалось: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу...» А ведь сказать-то нужно в этой комнате, которая издавна именуется классом. Артистизмом учителя — интеллектуальным и внешним — оживляется для ребят художественная книга. Уроки такого артистизма он берет в опыте, скажем, И. Андроникова, встреча с которым на телеэкране — всегда событие, праздник. Никто, как он, не поддержал меня в давней, заветной мысли: книге нужен учитель, овладевший учебным артистизмом как методическим средством. Лишь на этом фундаменте словесник ремесло обратит в мастерство.

НЕТ, Я НЕ ОШИБСЯ...

Шел третий урок по «Поднятой целине», где я собирался продолжить разговор о Давыдове. Это всегда не просто, если начало было удачным и ты вместе с классом изрядно поволновался. Тема вроде как уже отработана, пережита, и продолжение с его неизменным «Итак, на чем мы в прошлый раз остановились?» часто только смазывает впечатление. Но что делать, если иной персонаж в один урок не укладывается? Не «образ» Давыдова как таковой, а уже некая «теория продолжения» волновала и тревожила. В такие моменты полезно спросить себя: где та заветная мысль, которая при любых поворотах урока обязательно прозвучит? К чему идешь и чем надеешься закончить — не начать ли именно с этого, т. е. продолжить в обратном порядке? Нужна-то ведь не последовательность, а экспрессия, способная удержать, развить уже возникшее внимание!

«...Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака... Вот и все!»

Смотрю на ребят, как и я, взволнованных лиризмом шолоховского эпоса, этим обжигающе кратким «вот и все». Но разве у таких, как Давыдов, жизнь заканчивается точкой? В раздумье закрываю книгу. И, ни на кого не глядя, будто рядом ни души, самому себе негромко, но слышно для всех говорю: «Все звучит во мне его голос...»

«... я за партию... я за свою партию... за дело рабочих, всю кровь отдам... Всю, до последней капли!»

«Спасибо тебе, дорогой Нестеренко!.. Горькие слова ты мне наговорил, но насквозь правильные, факт!»

«Отсеемся — тогда можно будет и подраться и побороться».

«Это же просто красота, что ты, мой милый Устин, за колхозное сено в драку полез...»

«Эка дурило ты!.. Ну что ты наговорил, опомнись! Давай потолкуем».

«Хорошую жизнь мы построим... Счастливые будут Федотки, факт!»

«Я, товарищи, сам — рабочий Краснопутиловского завода».

Весь урок в редкостной тишине звучал голос Давыдова. Не реплики, а голос, потому что я был Давыдовым. По памяти, где-то не совсем точно, нарушая сюжетную последовательность, говорил его словами. Но в каждой реплике старался ухватить его интонацию, жест, настроение. Кое-что проговаривал с хрипотцой, и ребята догадывались, почему мой голос вдруг стал таким. «Охрип, собака, на своих митингах», — скажет о Давыдове Половцев. Мысленно, чтобы лучше войти в «образ», на своей груди видел не галстук, а полосатый треугольник давыдовской тельняшки. Иногда демонстративно тянул книзу рукав пиджака. Ребята и это понимали: Давыдов прячет татуировку. «Перевоплощаться» дальше не рискнул: не внешнее, а внутреннее подобие хотелось передать. Не только артистическая, но и учебная работа была на уроке. Иные реплики сопровождал микроанализом.

— Тимофея Борщова, затуманенного классовым врагом, — «обработать». А вот с Любишкиным Давыдов предлагает «поработать». В чем разнища? «У тебя тут есть детское?» — негромко спросил Давыдов... Почему негромко? Ну да, охрип — а еще? А еще? «Ты, мамаша, матросов не трогай! Как воевали и били ваших казачишек — про то еще когда-нибудь напишут, факт!» В Давыдове «матрос» представлен так же ярко, как и слесарь. Сбылась ли его мечта о том, что литература «когда-нибудь» отразит особую роль матросов в гражданской войне?

Самое сильное впечатление произвела реплика: «Что же ты плачешь, старик? Не надо...» Произнеся ее, я «попытался улыбнуться», подобно Давыдову. И, как в театре, увидел на лицах моих зрителей слезы. Пусть не

такие безотрадные, горькие, как у Щукаря, Демки Ушакова, но тем не менее слезы. Я снова открыл книгу, ибо почувствовал: ни Давыдов меня, ни я его больше не углубим. Нужна какая-нибудь пейзажная зарисовка, та «вечность», которая все доскажет.

«Так же плыли над Гремячим Логом белые, теперь уже по-осеннему сбитые облака в высоком небе, выцветшем за жаркое лето, но уже червленной позолотой покрылись листья тополей над гремячской речкой, прозрачней и студеной стала в ней вода...»

Но — «все звучит во мне его голос». Звучал он и в ребятах...

Нет, я не ошибся адресом, когда много лет назад, войдя в класс, «сыграл» Чичикова, а сегодня — Давыдова. И ныне всякому, кто, не работая в школе, с серьезным лицом оспаривает артистизм словесника, мысленно, а бывает и вслух (на сей раз без жеста, но с некоторой улыбкой), говорю: «Ах ты, мордашка эдакой!» — и тут же делаю ссылку на Гоголя. А еще — на свой многолетний опыт: артистизм как учебное средство во многих случаях напрямую связывает, смыкает урок с деловой игрой, без которой не обойтись.

ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР

Спросите любого из нас: какой школьный месяц самый трудный и даже, не покривим душой, бесплодный? Всякий скажет: май! Никогда так не ждут перемены, как в мае, и не сверяют точность своих и школьных часов. В мае не учатся, а маются. Пересидеть минуту-другую даже на уроке любимого учителя — проблема. Уже не тетрадка и книгам, а изрядно потрепанному волейбольному мячу хочется отдать остатки энергии. Да и учитель больше думает не об уроке, а о собственном престиже: каким выглядит он перед ребятами, скажу строчкой Блока, «в неподкупном, ясном свете дня». Майскими лучами перечеркиваются многие ценности. То здесь, то там вдруг запрыгает солнечный зайчик, скользя по линзе чьих-то очков, и вот уже капризная мысль неудержимо помчалась за ним, забыв о «нравственном облике молодого современника в советской литературе» А наполненная звоном весеннего разноголосья улица, спастись от которой можно только закрыв окна, — разве не помеха? Закроешь, и вовсе работать нельзя: душно. От солнца, переполненного класса, отопительных батарей,

которые на всякий случай не отключают. Счастливыми в ту пору считают себя те из нас, чьи классы расположены на теневой стороне. Солнечная — серьезная проверка мастерства. В моем арсенале появился даже цикл так называемых майских уроков, совершенно не похожих на обычные, традиционные. Об одном из них, собственно, и пойдет речь как о способе... Чуть было не сказал — противостоять маю. Отнюдь нет. Наоборот, ощутить его весеннюю новь и в неповторимом обновлении урока.

Многие годы проработал на солнечной стороне. Вот и снова иду в класс, дышащий жарой, усталостью. Платками вытирают ребята вспотевшие лица. За окнами кто-то старательно обкатывает самодельный мопед, а из соседнего дома на весь квартал звучит: «Все могут короли, все могут короли...» Сквозь приоткрытую дверь (чтобы сквознячком продувало) доносится звонкий голос пионервожатой, что-то репетирующей с малышами в соседней рекреации... Мои десятиклассники готовились к диспуту «Много ли человеку надо?». Но охотников начинать разговор не находилось, хотя на партах вместе с тополиными ветками лежали и раскрытые книги.

— Ребята, — сказал я, — не обсудить ли тему за «круглым столом»... телестудии?

Словно освежающий ветерок прошел по классу. Стрепенулись, ожили.

— ...Этим «столом» — будет мой. В центре сядет кто-нибудь из вас, ведущий передачи. Остальные — по бокам. Кто остальные? Ну, прежде всего учитель литературы, то есть я. Нужны еще психолог, социолог, философ, литературный критик. Пожалуй, и довольно. Все, кто не за столом, — телезрители. Согласны?

Еще бы! Только не в роли зрителей. Каждому вдруг захотелось за мой стол, по ту, а не эту сторону воображаемого экрана. На роль ведущего кандидатур оказалось больше всего. Им стал Володя Никитин. Настроенные отнюдь не шутивное. Выдвинули стол на середину класса, полукругом расставили стулья. Психолог и социолог, а особенно литературный критик волновались. Занял и я свое место, сказал: «Включайте!»

Сейчас, когда я пытаюсь в подробностях воспроизвести этот урок, многое, пожалуй, выглядит забавным, даже смешным. Но тогда... Воочию видел, как ребята, разом затихнув, не мысленно, а буквально — движением руки, словно и впрямь сидели перед экранами, включали свои телевизоры. По-разному, в зависимости от марки:

то звонким щелчком рычажка, то мягким, почти неслышим нажатием кнопки. Ведущий по всем правилам, словно опытный тележурналист, начал: «Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы...» Он представил участников «круглого стола» и мне первому дал слово, сказав, что передача — учебная, а не «вообще». Вряд ли когда-нибудь ребята слушали меня так живо и остро, как сейчас, когда я говорил с «экрана».

Учитель. Издревле существуют два отношения к жизни: аскетическое и эпикурейское. Первое отвергало «мирские наслаждения», провозглашая культ духовности как наивысшей человеческой ценности. Из вещного, материального потреблялся лишь минимум необходимого — то, без чего невозможно жить. Вспомним греческого философа, который имел лишь одну-единственную чашку, чтобы пить воду. Да и ту бросил, увидев однажды мальчишка, пьющего из ручья ладонью. Приходят на память строчки Есенина:

Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинок также можно пить...

В противовес аскетизму примитивные последователи «философа наслаждений» Эпикура (сам он проповедовал высшую духовность) видели смысл жизни в поспешном и безудержном наслаждении «грубыми удовольствиями». Для них, если говорить о сегодняшнем дне, не «ладонь», не «кувшинка», а «стакан» — многогранный символ этих благ...

Философ. Простите, не ясен намек. Вместо кружек, стаканов пользоваться ладошками и кувшинками — так что ли?

Социолог. Суть не в том, чем пользоваться (можно и ладошкой), а чтобы вещи, которые служат нам, не победили нас. Вот пример из жизни...

Пример явно затянулся. Чувствуют это все, кроме... ведущего: слушает, как зачарованный. Не слишком ловким движением психолог дает ему это понять. Кто-то из телезрителей хохотнул. Главное, камеру вовремя не переведешь, ибо на самом-то деле ее нет. Спыхватившись, Володя снова в роли. Complimentом мягко останавливает разговорившегося социолога и дает слово психологу, намекнув, что время передачи ограничено.

Психолог. Думаю, не безразлично, чем пользоваться, когда пьешь воду. Ведь есть еще и «духовная жажда» — эстетическое чувство, которое надо тоже

удовлетворяют. Из красивой, изящной кружки, согласитесь, вода вкуснее, а желания напиться больше. Так мы невольно (и справедливо) расширяем круг вещей, стало быть, и их ценность. Но нельзя забывать, что самый дорогой и красивый сосуд не сделает того, что может человеческая ладонь. Да и обыкновенный стакан, если в нем подают свежий, ароматный чай, не идет в сравнение с фарфоровой или фаянсовой кружкой, куда из экономии или неуважения к гостю налит спитой, давнишний чай.

Не ожидали, что психолог «выдаст» это. За партой он не был так интересен. Но, может, потому и не был, что был только за партой?

Критик. Мне кажется, Есенин пытается убедить нас, что природа (!) должна определять наше отношение к вещам, их ценность и красоту. Вещи побеждают человека, если он ушел от «кувшинок». Из них, как воду из стаканов и кружек, надо учить пить поэзию жизни.

Ведущий. Да, кувшинка — общая. Как солнце, небо, река. А вот кружка? Если она в сервизном наборе, даже сам хозяин не всегда ею пользуется. Не для воды, а для чего-то другого приберегает. И к остальным вещам так же относится. Копит, а зачем? Скажи такому, что не хрустальный бокал, а кувшинка и ладонь — наши главные ценности, засмеется.

Учитель. Всё так. Но послушаем еще одного поэта.

Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.

Да, это Маяковский, который писал не для денег. Но, однако, имел набор дорогих импортных ручек, шикарный французский «Рено», а Татьяна Яковлева в Париже на его гонорары по утрам получала корзины красных роз от одной из лучших французских фирм. Поистине: «Миллион, миллион алых роз». Как же понимать это «ничего не надо»?

Наш «круглый стол» на какое-то время стал неуправляем.

Философ. «Свежевымытая сорочка» — тут, навер-

ное, и просто чистота, которую порой до странности любил поэт, и чистота гражданских помыслов, бескорыстия.

Критик. Маяковский обычно рифмует основные, тематические слова. Заметьте: *на дом — не надо*. Это же почти формула жизни. А вот *строчки — сорочки*...

Пришлось высказать догадку — не бесспорную.

Учитель. Припомним: как встретил своего друга в Михайловском ссыльный Пушкин? Выбежал на крыльцо зимой в одной сорочке, оставив на минуту исчерканный лист бумаги. И таким он изображен на знаменитой картине. Сорочка-то у Маяковского, возможно, пушкинская?! Не случайная деталь, а символ — той поэтической ночи, когда «встаешь и говоришь векам, истории и мирозданию». Творческая (!) потребность определила и меру всех других потребностей: в мебели, в рублях... Что надо и чего не надо — на это лучше других отвечают нам поэты. Познать духовную суть вещи — это и значит защитить себя от ее слепой власти. Обидно, если о ком-то из нас скажут переиначенной строкой Маяковского, что-де жил он для того, чтобы, умирая, воплотиться... в хрустали, дубленки и меха, а не в строчки и пароходы. Здравомыслящие прагматики с подслеповатой узостью материальных интересов, безудержные — на всю жизнь! — вещепоклонники, ведают ли они о той «сорочке», которую пожелал себе и завещал нам великий поэт?

Социолог. А вот тут-то я и не согласен. Для творчества, может быть, и так: ничего не надо! А для дома, семьи! Или вы думаете, что все и всегда должны быть поэтами?

Учитель. Именно так и думаю. Все и всегда — своим отношением к материальному и духовному.

Ведущий. Любопытно. Однако как преломляется «не надо» Маяковского в судьбах знакомых нам литературных героев: Павла Власова, Корчагина, Давыдова, Нагульнова, Жени Столетова?

Вижу, что телезрители с большим трудом сохраняют нейтралитет. Но высказаться можно и во внутреннем монологе. Фонетическая активность еще не доказательство глубокой работы мысли.

Философ. Духовному обновлению, например, Павла Власова сопутствуют радостные «потери». Ни ружья, ни удочки, ни трости и прочего ему теперь «не надо». Из категории «как все» он вырастает в личность, осознавшую свои истинные потребности. Духовность, давая меру всему, сама — безгранична.

Наш социолог решил поспорить о «границах» духовного. Но поддержки не получил. Зато вызвал понимание: май! экзамены! В эту пору учителя злоупотребляют «духовным», и поневоле хочется установить границу, найти рациональное «не надо». В беседу включается «литературный критик». С профессиональной интонацией, немного витиевато говорит он о Нагульнове. «Зараз такая жизнь, что все лишнее надо удалить от себя», — утверждает Макар. Но не слишком ли много «удалил» он? Этому гремьяченскому романтику, образно говоря, даже и сорочки не надо. Вопрос, что и сколько от себя удалять, оказывается непростой. Кто-то из телезрителей по привычке поднимает руку. Но законы экрана суровы: нас видят; мы — нет.

К р и т и к. Напомню некрасовские строчки о Добролюбове:

Сознательно мирские наслажденья
Ты отрицал, ты чистоту хранил...

В е д у щ и й. У Некрасова «отвергал», а не «отрицал». Думаю, есть разница?

П с и х о л о г. Легко отказаться от того, чего не надо. Но часто приходится отказываться от того, что надо. Это уже отвергать. И тут — высота духа («высоко вознесся ты над нами»). Поэтому особое значение имеет «сознательно... отвергал». Если сознательно, — значит, обречение, а не потеря.

В е д у щ и й. Безусловно. А теперь спросим самих себя: в какой момент жизни к Пьеру приходит подлинное счастье? Да, в плену у французов. Когда одни потребности свелись до минимума, а другие расширились — в целый мир. «И все это мое, и все это во мне, и все это я», — говорит Пьер, вдруг почувствовав освобождение и от французов, которые не могут убить это небо, эту землю, и от того «лишнего», «внешнего», что исподволь и так долго, мучительно тяготило его.

В е д у щ и й у к р а д к о й посматривает на часы. Наконец предлагает мне подвести итог, понимая, сколь важно заключительное слово в деловой игре.

У ч и т е л ь. Итак, не «ладонь», не «кувшинка» и не «сорочка», а «стакан» для иных — многогранный символ житейских благ. Одни его грани отражают ультрасовременную мебель, стеллажи непрочитанных книг, непременно цветной телевизор, новое пианино, подобранное в тон... с импортным гарнитуром. Другие сквозь

грань «стакана» искаженно видят лицо человеческое: от примитивного собутыльника, с которым коротаются долгие часы, до нужных людей, умеющих достать и доставить «мебель на дом». Для кого-то «стакан» оборачивается неожиданной гранью: здесь и есенинская кувшинка (на рыбалке или туристской вылазке), и прочитанная книга на модном стеллаже, и настроенное в тон бессмертной музыке пианино... Но эти духовные ценности, оказывается, тоже потребляются на уровне «стакана» — для комфорта души, у которой нет своих потребностей. «Много ли человеку надо?» — «Много!» — говорим мы, оспаривая Л. Толстого. И все же, наверное, не больше, чем нужно, чтобы материальное в наших запросах не заслонило духовного, а духовное вследствие этого не предстало бы надутым и мнимым. Если в каждой личности некая чудинка, то эта чудинка и в самих ее потребностях. Не потому ли с таким благоговением и вниманием рассматриваем мы вещи великих людей? У каждой свое лицо. Книги в пушкинском кабинете, трость Горького, авторучки Маяковского... Ценность их не в цене и не в количестве, а в том, что они — помощники творчества. Тогда вещи не превратят наш дом в некий храм мещанства, нас самих — в живую рекламу стереотипа, а станут атрибутами особого, духовного быта, где каждая вещь на месте и имеет свой смысл и где не будет комнаты, в которой «живет» ковер. Всякий, не определивший личную и социальную функцию вещи и себя как меру вещей, рискует стать потребителем. Вещь тогда нужна не потому, что действительно необходима, а потому что она есть у кого-то другого. Так растут мнимые запросы. На первый план выступает не личность, гармонично сочетающая материальное и духовное, сегодняшнее и завтрашнее, собственно личное и гражданское, а, скажем гневным словом Маяковского, «мурло» вездесущего и везде сующегося потребителя. Нет, я не за то, чтобы меньше хотелось, а чтобы знать, что, сколько и зачем хотеть, определить свою «надобу», воспользуюсь словом М. Цветаевой. Человек будущего не аскет и не эпикуреец, а творец нового жизненного критерия, включающего в себя и полную радость жизни, и разумную меру самоограничения. Во всем этом нужно разобраться уже сейчас, программируя эталон жителя XXI века. Что предстоит, на мой взгляд, сделать семье и школе? Многое. В первую очередь выработать принципы воспитания потребностей (духовных, материальных), а не только

способностей (умственных, эстетических, физических), т.е. открыть новую страничку в педагогике...

Давно отгремел звонок. Чьи-то головы с любопытством заглядывали в класс и не сразу исчезали. За окнами раздавались звонкие удары по мячу. Все так же где-то неподалеку тарахтел мопед, заглушаемый временами пионерским горном и барабаном. По стенам и потолку все так же скользили солнечные зайчики, знойная духота, словно перед дождем, не спадала. Приторно пахло клейкой зеленью тополей... Но наш «круглый стол» работал.

Ведущий. Беседа подошла к концу. Спасибо, дорогие телезрители, за внимание. Пишите нам по адресу... В следующей передаче мы охотно ответим на ваши письма. Всего доброго.

Последнее школьное сочинение в необычном жанре «Письма телезрителей» было дружным (!) откликом на урок-передачу, где каждый, впрочем, имел право (если скучно, неинтересно) выключить свой телевизор и готовиться к зачету по химии (следующим уроком была химия). Но никто не воспользовался этим правом. Значит, передача состоялась. В майском, незашторенном классе, в окна которого заглядывала весенняя голубизна, торжествовал голубой свет «экрана». Точнее — урока, созвучного нашему времени, времени года, школьной поре. Почаще бы нам, словесникам, — не только на уроках и не только в мае — включать «телевизор» обучающей игры и общения. Соединим то и другое, а проще — игру и учебу, вот и выход на многие проблемы и из многих проблем. Практика доказывает: без выдумки, смешинки, парадокса, а в общем игрового, нет и серьезного. Играющий, в сущности, и есть мыслящий, ибо душевно разбужен. Какими иными средствами развить и сохранить импульсы творчества, чтобы ребята не шли, а бежали на урок, как на футбольное поле или спортплощадку, дабы самораскрыться в игре азартной и увлекательной, узнавая тайну того, для чего не жалеешь сил? Тайну самого себя. Не раз замечал: ученики особенно «активны», когда думать не надо. Этой внешней, показной активностью многие из нас хитроумно пользуются, создавая видимость интереса. Игра полностью переключает активность во внутренний мир! И тогда, скажем строчкой поэта: «Люба тоже не молчит, а беззвучно говорит». И не только Люба...

На уроке литературы игра — это поиск художествен-

ных деталей, без которых не работает механизм книги; тех единственных слов, когда сказанное волнует законченностью; приемов, открывающих глубины обманчивых в своей кажущейся прозрачности классических страниц; вопросов, во многом безответных, но заставляющих размышлять в надежде на ответ... Да разве всё назывешь? Игра — заинтересованное прикосновение к книге; рывки к прозрениям и просветлениям; обретение — трудом души! — тех знаний, которые умножатся в самообразовательной деятельности человека; истин, усвоенных и закрепленных эмоциональным откликом. Не здесь ли одно из корневых проявлений «школьного состояния души», о котором писал Л. Толстой? Что бы ни говорили, а мышление ребят, даже старшеклассников, во многом на уровне сказочного колобка: непременно нужна какая-нибудь «история» и чтоб раскручивалась. Если ничто не «катится», то и сам стоишь. Игра дает уроку «колобок», а вслед за ним и мыслительную активность всей массы учащихся¹.

КОМУ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ?

В который раз уже, закончив «Грозу», шел на последний, заключительный урок, сомневаясь, честно говоря, в его необходимости и полезности. «Закрепить» — это подчас смазать и даже совсем стереть впечатление от книги. Обобщающее «итак» нередко оборачивается досадным «не так». Но... как картина без рамы, так и изучение книги, о которой не сказано последнего слова, тревожит чувством незавершенности. Какой же должна быть наша «рама»?

По глазам ребят, когда вошел в класс, понял: их удручало то же, что и меня, хотя к уроку готовились старательно. Что ж, попробуем итог сделать началом: закрывая книгу, открыть ее, последним словом разбудить самые первые слова и вообще все устроить иначе. «Ребята! — сказал. — Давайте проведем читательскую конференцию по «Грозе» с участием... самого А. Н. Островского! Как это сделать? Очень просто. Кто из вас решится на несколько минут стать А. Н. Островским? Желаящего прошу сесть за мой стол».

Последовала продолжительная пауза. Я понимал их

¹ Прочитайте, как прекрасно написал об этом Ю. П. Азаров в романе «Соленга» (Север, 1983, № 7, 8, 9).

сомнения. Все ли знаешь из того, что якобы сам написал? Заглянуть в учебник, конспекты, монографии — поздно. Заглянуть в себя? «Частичка» Островского наверняка есть, иначе по собственной воле и охоте вряд ли читал бы и перечитывал «Грозу»...

И вот из глубины класса уверенным шагом идет к моему столу вихрастый паренек. С этой минуты он уже не Сережа Ануфриев, а Александр Николаевич. Знаменитость.

Нетороплив, внимателен, держится просто, с достоинством. Много учтено, кроме одного: читатели-то, оказывается, тоже преобразились. Посыпались вопросы, иные из которых были и мне не под силу. Всяк своим вопросом хотел доказать, что у него больше прав на Островского, хотя он и в читателях.

— «...что домой, что в могилу — все равно», — говорит ваша Катерина. Неужели нет иного выхода?

— Ваш Кулигин, по сути, открывает и закрывает пьесу. Какой в этом смысл?

— Поначалу свою «Грозу» вы назвали комедией, а затем — драмой. Объясните смысл этой поправки.

— В пушкинской Татьяне долг побеждает любовь, а в Катерине наоборот. Отчего? И еще: «покрытая белым платком», выходит она на свидание с Борисом. Неужели так важно: платок... белый... большой...

— В «действующих лицах» сказано: «Катерина, его жена», т. е. Тихона Ивановича Кабанова. Почему своей героине вы не даете отчества? Или мы должны это узнать непременно из реплики Бориса, что она — Петровна?

— Почему не показаны домашние Дикого, а только Кабанихи?

— Катерина «горячая» и Дикой — «горячий». Объясните разницу.

— Ваш Кулигин читает Державина. Почему не Пушкина, Лермонтова или Некрасова?

...Вопросы, вопросы. Будь за столом и впрямь сам Островский — не на каждый бы тотчас ответил. А тут всего лишь девятиклассник. Оттого и не очень задевает чья-то ядовитая шутка, вызвавшая общий хохот: «Да полноте, вы ли написали «Грозу»? Не объявился ли новый Гришка Отрепьев?» Сереже-Островскому приходится помогать. Но и тем, кто сменил его, отнюдь не легче: иной читатель свою робковатость обязательно компенсирует каким-нибудь коварным вопросом.

— Вы наделили Катерину «характером». А что это такое — характер? Ваша точка зрения?

«Новый» Островский (теперь это Таня Ижилова), не задумываясь, отвечает:

— Характер... это... это, когда себя самого немного побаиваешься. Вот что говорит моя Катерина: «Конечно, не дай бог этому случиться! А уж коли очень мне здесь опостынет...» Она потому и терпит, что себя боится! Силу свою сознает! Есть терпение слабых, раздавленных, а есть сильных, способных на отчаянный протест. Вот такую героиню я хотела, то есть хотел, показать.

— Если она сильная, то почему завидует «птице»? Нет ли противоречия?

— Ничуть, — отвечает «автор». — Ей чужда жизнь, в которой она живет, а высказать заветную мечту о свободе, о волюшке иначе не умеет. Или вы хотите, чтоб она заговорила так: «Знаешь, Варя! Данные социально-экономические условия, отнявшие у женщины элементарные права, унижившие ее морально и материально, не совместимы с истинным достоинством и призванием человека...»

Ребята от души хохочут и очень довольны юмором и находчивостью Тани, а еще — завидным умением мужественно исполнять роль. Это дает новую вспышку активности.

— Пушкин писал в «Онегине»: «А та, с которой образован Татьяны милый идеал...» В черновиках: «А те...» Та или те в основе вашей Катерины? Или ни то и ни другое?

— О вас говорят: начал с Малого, а кончил великим. Как понимать?

— Очевидно, — уверенно отвечает наша Таня, — речь идет о Малом Московском Художественном театре, где 25 января 1854 года была поставлена моя первая большая пьеса «Бедность не порок». Что же касается величия, то судить об этом не мне.

— Намерены ли дальше развивать тему «горячего» человека?

— Над чем работаете сейчас?

На этот раз Таня уклонилась от прямого ответа. Ничем не мог ей помочь и я, ибо, к стыду своему, не знал, над чем именно работал Островский сразу же после «Грозы». К счастью, у кого-то оказалась солидная монография, разрешившая наши сомнения.

Еще один «Оостровский» отважно идет к моему сто-

лу. Выстоит ли под грузом каверзных реплик и вопросов, которые не иссякают, более того, раз от раза становятся все неожиданнее, содержательнее?

— Не кажется ли вам, Александр Николаевич, что вы несколько перегрузили пьесу второстепенными персонажами? Ну, зачем, к примеру, «мещанин Шапкин»? Его «обязанности» с успехом мог бы выполнить и Кулигин.

«Автор» жарко доказывает обратное. Увлекается настолько, что в азарте забывает о своей высокой миссии:

— Коль так рассуждаешь, ты сам Шапкин. Читай внимательнее пьесу.

Ребята зывают к вежливости прославленного драматурга. Шапкин нужен в «Грозе» хотя бы одной этой репликой. Увидев Дикого, он говорит Кудряшу: «Отойдем в сторонку...» Потому так и вольготно самодурам, что в жизни есть шапкины (к ним относится Кудряш, Борис, Варвара, даже Кулигин), которые умеют отойти «в сторонку». Увлечлись и стали отыскивать шапкиных в других книгах. Кто-то шепнул: «Уходим от темы».

Очередной вопрос вновь доказывает, что с автором «Грозы» беседуют внимательные читатели.

—Ваша Катерина «уходит», Варвара «убегает», Борис «уезжает». Какое слово вы бы нашли для Тихона?

Найти слово — за несколько секунд — задача непосильная иной раз и для великого. Но игра есть игра. И «автор», сохраняя авторитетное спокойствие, с апломбом отвечает:

— Для Тихона, пожалуй, точным будет... «опустился». Но разве из текста этого не видно?

Возражают. Из текста видно и другое: в последней сцене, обвиняя маменьку, Тихон, наоборот, поднялся хоть и до маленького, убогого, но протеста. Сошлись на том, что «автор» и читатели, не противореча, дополнили друг друга. И снова вопрос:

— У вас Кабаниха многократно произносит свое любимое «ну», особенно в сцене прощания с сыном. Одинаково или всякий раз по-иному должно звучать оно? Дайте несколько советов актерам.

Забыв о «дистанциях», стали сообща разгадывать кабановское «ну», действительно многократное и — непохожее: то ироничное, насмешливое, то презрительное и злобное, то угрожающе-циничное и т. д. Но в разных оттенках одинаковое: властно-деспотическое, беспрекословное.

И опять некстати звонок. Но конференция продолжается на перемене. Ребята обступают того, этого, другого «Островского», требуя неоспоримых, убедительных доказательств «авторства». Шутят над самонадеянностью тех, кто, взявшись выступать от имени драматурга, толком даже не прочитал «Грозу». Над кем-то добродушно иронизируют: «Простите, Александр Николаевич, но пишете вы гораздо лучше, чем говорите. Объясните эту странность». Разбуженные учебной игрой, весело и непринужденно выплескивались живые впечатления многих уроков. Когда одному из ребят условно, карандашом, поставил за первую четверть «три» (оценки в старших классах официально выставляются за полугодие), тот огорчился. «Я же был Островским», — сказал он грустно. Поразмыслив, решил поставить «четыре»: меньше (Островскому!!!) нельзя. Но тут же, однако, и намекнул: «великие» не торгуются.

Размышляя над этим уроком и его резонансом, неожиданно понял: обобщать — это не ученикам задавать вопросы, а вызвать у них вопросы к писателю. Не скажу, что все «средства» хороши. Может, в чем-то мы были и опрометчивы. Но такая «встреча» с Островским, который был и во мне, и в учениках, думаю, не обернется разлукой ни каждого с ним, ни каждого из них друг с другом и с учителем, сумевшим, обобщая, не разобщить. Структуры игровых уроков, как и их цели, — разные. Иногда это «круглый стол», конференция; в другой раз — попытка дописать или досказать произведение с последующим конкурсом на лучшее решение творческой задачи и т. д. Важен принцип, а не формы, в которых он разлит себя.

...Как-то на экзамене директор 516-й школы, где я много лет работал, Евгения Александровна Соморова в откровенном разговоре с учеником спросила: «Какое самое сильное впечатление ты уносишь из школы?» Подумав, тот ответил: «Я был Островским...»

УРОК ГАЗЕТЫ

Слово наше должно быть обжигающим, значит... лаконичным, образным. По-другому: экономным! Ведь сказать всегда хочется многое — такова уж особенность человека. Сказать же многое — значит поработать со словом всерьез. Как в легенде о скульпторе, который сотворил прекрасный лик из камня, удалив все лишнее. Но

до чего же это не просто — увидеть лишнее. Ведь им на первых порах может оказаться и необходимое. Стремление к краткости при недостатке времени и умения часто сопряжено с риском. Тем не менее отсечение лишнего — обретение! Всегда и во всем. Ребята уразумели и приняли эту истину. Поддерживал нас и Чехов, который в письмах к брату (предельно сжатых, лаконичных) нередко добавлял: прости, брат, не было времени написать короче. Не отнимать друг у друга «длинным» словом энергию внимания — это крепить узы общения.

Однажды по пути в школу в газетной рубрике «Коротко об интересном» прочитал любопытную корреспонденцию. В классе кратко пересказал ее ребятам.

— Случилось это на Кавказе, на берегу Куры. Орел увидел добычу и, схватив ее, взлетел. Но в когтях птицы оказалась змея. Она обвила своим гибким телом крылья орла, и оба упали на землю. Вот и все событие. В заметке 65 слов. Попробуйте этим же количеством слов описать ту же историю за 15 минут. Как в газете, когда верстается номер и нужно срочно заполнить текстом небольшой квадрат образовавшейся на полосе пустоты. Потом тексты прочитаем вслух и сравним с оригиналом. Урок — вроде как конкурс на лучшую миниатюру в указанном жанре.

Пятнадцать минут творческой тишины! С подсчетом и зачеркиванием слов, поиском новых, с лихорадочным посматриванием на часы. А дальше — 20 минут безудержного хохота, когда ребята (с моими комментариями) читали свои опусы. С одним из них, пожалуй, познакомлю:

На горизонте Кавказа появилась точка. Неожиданно эта точка полетела вниз, за добычей, и схватила ее. Это был орел. В поисках съедобного он перепутал и вцепился в огромную змею, случайно гревшуюся на солнце. От растерянности она сначала вела себя хорошо, а потом стала выкручиваться. Змея была больших размеров и скользкой, каких раньше самонадеянный хищник не встречал, а то бы не слетел камнем вниз. Не выдержав добычи, он стал терять равновесие в объятиях змеи, и в безоблачном небе они оба упали на землю. Гадкая ползучая тварь торжествовала победу.

Хохотали даже те, кого через минуту тоже будут слушать товарищи. И снова тишина. Медленно читаю газетную корреспонденцию:

«Высоко над водой гордо парила громадная птица. Вот она делает круг, все ниже и ниже опускаясь к реке. Вдруг орел спикировал вниз. Секунда — и он уже снова в воздухе, а в когтях... большая змея. Птица резко взмыла ввысь. Метрах в ста над землей разгорелся яростный бой. Змея, извиваясь, постепенно оплетала гордую

птицу. Орел начал резко терять высоту, а затем рухнул на гранитный берег Куры».

— Спикировал, взмыл, оплетала, рухнул... — вот они, точные глаголы. Очевидна и уникальная роль тире в экономике слов. С этой же целью использовано многоточие, усиливающее к тому же момент интриги. Однако поищем небольшую шероховатость в тексте журналиста.

Находят: «...Над землей разгорелся яростный бой». Проза исключает даже малейшее подобие рифмы. «Бой», видимо, лучше заменить словом «схватка». Удивила неожиданная просьба: «Продиктуйте, пожалуйста, запишем!» И опять тишина: уже зримых сопоставлений учебного и профессионального пера.

Когда встречаюсь со своими бывшими учениками, они нередко вспоминают:

— А как мы тогда про орла? И про змею тоже?

У каждого из нас, учителей, по-видимому, есть какие-то свои, особые приметы успеха или неуспеха урока. Мне, например, памятна и дорога приписка, сделанная рукой ученика в конце сочинения: «Простите, Е. Н., не было времени написать короче». В таких случаях сам нахожу время и щедро вношу коррективы, убеждая себя и ученика, сколь безграничен поиск совершенного.

Люблю язык газеты и многому у нее учусь: броскому заголовку, стыковке абзацев, динамизму фраз, разнообразию синтаксиса, деловитости слова и т. д. Стараюсь и ребят этим увлечь. Бывало 30—40 экземпляров утренней газеты приношу на урок: сообща корректируем какую-нибудь острую, проблемную статью, пытаюсь найти в ней и устранить языковые неточности, излишества. Воочию убеждаемся, насколько это не просто, а иногда и невозможно. Придумал даже тему «Урок газеты». Класс ропщет, когда откладываю эти уроки из-за нехватки времени. Работать над собственным черновиком заставишь не всякого, но вычеркивать лишние слова, а иным находить замену, отыскивая более точные и емкие, нравится всем. Сообща придумали правило: суть требует краткости, а краткость — особого внимания к сути.

Работа со словом пробудила стремление найти свой стиль, свою речевую манеру. Вот отрывок из сочинения ученика:

«Кое-кто считает («кое-кто» — мой приятель Юра Т.), что Софья — обманщица. Не очень правильно, т. е. просто неправильно думать о ней так. Причин, почему она «прямо не сказала» Чацкому о своем новом избраннике

Молчалине, несколько. Одна из них (назовем ее первой) в той обиде, какую она затаила на Чацкого; другая (по значению важнее) в том, что она все-таки любит его, Чацкого...»

Пока это лишь игра, подражание, попытка сказать по-своему. Но языковая зрелость из ничего не рождается. Свой стиль обретается в поиске: в постижении чужого мастерства и в преодолении магии его влияния.

СПИСОК «СВОИХ» КНИГ

На партах десятиклассников стопками лежали книги с многочисленными закладками. Повод к уроку дал Лермонтов строчкой: «Проселочным путем люблю скакать в телеге...» Проселками всяк по-разному шли к своей родине Радищев, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Некрасов... Есенин, Блок, Твардовский, Шолохов... **Общее и разное в «пути»** каждого из них — об этом начнем разговор. Но вот замечаю: на парте, где сидит миловидная, со всеми модными атрибутами девушка, — ни одной книги. Характер у моей модницы, как у шолоховской Лушки, — резкий, задиристый. А самомнение — сверх всякой меры. Да и за словом в карман не полезет: какое есть на языке, то и скажет. В классе, в общем, работала довольно охотно. «Слушать люблю, читать нет!» — призналась однажды. Чужие «закладки» объяснит еще лучше того, кто их сделал, а вот своих иметь не желает. Было в ней и что-то от Наташи Ростовской, которая на пальчиках считала, когда же наконец придет ее «пора». Звали девушку Лизой.

Итак, место за партой, где сидела Лиза, было «пустым». Двойку не поставил: не подстегнет и вряд ли что изменит. А холостые выстрелы, кроме шума, ничего не дают.

— Хорошо! — сказал я Лизе. — Мы сейчас сделаем с тобой другие закладки, тоже очень важные. Скажи, пожалуйста: в каких произведениях, известных тебе, встречается твое имя — звучное, красивое?

Все как один обернулись и ко мне, и к Лизе, возле которой стоял. «Обернулась» на себя и Лиза, задумалась. Вопрос задел за живое. Любить себя и не знать, что твое имя есть в книгах, мимо которых высокомерно проходишь, согласитесь, как-то неловко. Я и сам не был готов сразу ответить на вопрос, который отважился задать. Словно решая кроссворд, задумался вместе с классом.

Но всем и мне прежде хотелось услышать Лизу. «Бедная Лиза», — произнес кто-то тихо. Ирония или подсказка? То и другое, наверное, потому что заулыбались. Слабо улыбнулась и Лиза. И опять задумалась: не у одного же Карамзина есть ее имя! Разочарованно отошел от Лизы к своему столу и начал работать с классом. Признаться, не ожидал, скольких Лиз вспомним.

— Служанка Лиза («Горе от ума») — заступница Чацкого.

— Что больше всего грибоедовской Лизе нравится в Чацком? А нашей? — спрашиваю модницу.

— У Болконского («Война и мир») жена — Лиза!

— Да. Но только после ее смерти он понял (увы, такое случается со многими), как был жесток и несправедлив к ней, требовал от нее больше, чем она могла. Глядя на «мертвое укоризненное лицо жены», он вдруг осознает свою вину, осудив себя, гордого, холодного. И это еще шаг в нравственных исканиях Болконского. Ведь не в Лизе, а в нем заключена «укоризна».

— «Бесприданница», — изрекла наконец и наша Лиза.

— Ее Ларисой зовут, — будто вскользь поправили. Опять стало тихо.

— А Лизавета из «Преступления и наказания»! — сразу раздалось несколько голосов.

— Верно. Тогда скажите: почему Раскольников, убивший ее, помнит только старуху? Когда его память воскресит Лизавету? Заодно посчитаем, «скольких» он убил, нарушив дозволенную «меру» крови?

И сказали, и посчитали.

— «Как закалялась сталь» — и там Лиза!

— Разве? Что-то не припомню.

— Есть! — настаивает ученик. — Сухарько! Подруга Тони Тумановой.

Я вспомнил страницу, которую никогда не комментировал. Поразило: почему именно она запомнилась и всего лишь одному (!)? Впрочем, разговор показал, что запомнились и другие страницы. Тем не менее до чего же причудливо возрастное восприятие книги!

Ба! Лиза, оказывается, есть и в «Поднятой целине». Ведь именно ей, своей жене, чинуша и бюрократ Корчжинский пишет в записке: «Лиза! Категорически предлагаю незамедлительно и безоговорочно предоставить обед предъявителю (Давыдову.— Е. И.) этой записки. Г. Корчжинский». От «категорического» обеда, как, впро-

чем, и от методов руководства Корчжинского, Давыдов решительно отказывается.

— Чем новый секретарь райкома Нестеренко отличается от Корчжинского? В каких произведениях сегодняшней литературы особенно ярко изображены «районщики» типа Нестеренко?

От Шолохова вернулись к Тургеневу. В «Дворянском гнезде» поистине классическая Лиза. Хотя и не «программная», а поговорить стоит. И о Лизе из «Пиковой дамы». Чувствую, в рамках отечественной литературы тесновато. Вышли к Мольеру. И вот он список «твоих» книг, Лиза! О многих ты и не подозревала. Кроме упомянутых еще «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы», «Крейцера соната», «Анна Каренина», «Пряслины», а из зарубежной литературы — «Пигмалион», «Вечер в Византии» Бернарда и Ирвина Шоу, «Мария Стюарт» С. Цвейга, «Конец главы» Дж. Голсуорси, «Мартин Иден» Джека Лондона, «Американская трагедия» Драйзера... Мог бы и дальше продолжить, но не рискую. Были книги, которые еще не успел прочитать или читал давно: «Пером и шпагой» В. Пикуля, «Путешествие дилетантов» Б. Окуджавы, «История одного детства» Е. Водовозовой, «Дьявол» А. Н. Толстого, «Дикие лебеди» Андерсена...

Азартно дополняли мы друг друга на виду молчащей Лизы. Урок лишь по форме напоминал ребус, а по сути это был сравнительный анализ, углубление в книгу, разговор о круге чтения. Лизы кроткие (Карамзин, Пушкин, Достоевский), величественные (Ломоносов, Цвейг), бойкие (Грибоедов, Б. Васильев «А зори здесь тихие...»), словно живые, наполнили класс. О чем думала ученица Лиза на уроке, которого никто не ожидал? Какие выводы для себя сделала? Одно несомненно: безучастной не была. Когда, говоря о Лизе Болконской и будто бы имея в виду только ее одну, я сказал, что и в книги, а не только в зеркало надо заглядывать, и в пример привел Марию Болконскую, Лиза покраснела и опустила голову. И тогда я невольно вспомнил слова Кутузова («Война и мир»), обращенные к солдату, державшему в руках французского орла: «Нагни, нагни ему голову... Пониже, пониже. Так-то вот...» В этом, наверное, и есть нравственный смысл работы словесника: кому-то помочь гордо поднять голову, а кому-то и нагнуть... Возможно, этим желанием было продиктовано и домашнее задание: «Книги, в которых есть мое имя». Каждый через неделю

подаст отдельный листок. Ну чем не повод **обозреть** литературу и себя самого! Многие книги подскажут ученику отец, мама, бабушка, приятели. Что ж, составится «список» книг, с которыми он познакомится уже за порогом школы. Убежден, что словеснику нужно быть готовым провести не только запланированный урок, но и такой, которого требует ситуация.

С еще большим интересом и ответственностью на следующем уроке мы продолжили прерванный разговор о «проселках». Лиза в этот раз была с книгами и даже сделала маленькое открытие.

— «Дорога долгая легка», — пишет А. Блок в «России». Наверное, это особенность всех дорог родины: чем длиннее, тем легче, хоть и «ввязнут спицы расписные в расхлябанные колеи...» Но нет горше той дороги, о которой читаем в военных страничках, раскрывающих душу отступающего солдата.

Тут же дал задание, но не классу, а Лизе — познакомиться нас с этими страничками. И Лиза не изъясилась неудовольствия, как обычно.

С неделю еще ребята жили именами и книгами. «А почему у А. Алексина в повести «Третий в пятом ряду» девочка требовала, чтобы ее непременно называли Елизаветой?» — спросили на уроке. Вот и еще произведение, которое надо читать. Срочно. Нет, хорошо, что я тогда не вспылал, не обидел Лизу ни словом, ни «двойкой». По существу, она подарила мне урок, а ребята и я помогли ему состояться. И не только уроку.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Здравый ум школьника всячески противится отвлеченному знанию, которое ни сегодня, ни завтра, ни здесь, ни там никак себя не проявит. Противится тем настойчивее, изощреннее, чем глубже и откровеннее уверовал в это знание сам учитель. Отношения, возникающие при этом, чем-то напоминают дуэльные схватки, а не сотворчество единомышленников.

— Так какого «гостя» написал Пушкин? Из чего он сделан? Из материала, с которым тебе, Вера, всю жизнь придется иметь дело... Ну? Чего же ты молчишь? Задумчивость — не твоя подруга...

Это разговор с восьмиклассницей. Что ни слово, то и впрямь выстрел. Без промаха, но с отдачей. Не по-доброму затихает класс... Всяк ощущает на себе «каменную

десницу» пушкинского гостя, вдруг сошедшего со страниц шедевра и принявшего облик... школьной учительницы.

Еще урок — и новая дуэль. «Превращусь не в Толстого, так в толстого...» — поглядывая (с «воспитательной» целью!) на отстающего и не по возрасту тучного юношу, выразительно читает словесник строчки Маяковского. А в итоге — затяжной конфликт, озлобление ученика, нервные срывы учителя. В школьных дуэлях победителей нет.

Словарная работа возле классной доски у иного «словесника» выглядит нередко так. Вызвал кого-нибудь из трудных, диктует, а тот, ничего не подозревая, доверчиво пишет — в колонку: беспринципный, развязный, циничный, бессовестный... А к вечеру, смотришь, то здесь, то там выбито стекло, сорван стенд, измалевана стена... Расплата за «индивидуальное» внимание! Отставку разом дают и учителю, и школе, а прежде тому хорошему и доброму, что есть в каждой юной душе.

Увы, сторонники педагогических репрессий встречаются вовсе не редко. А это, разумеется, далеко не на пользу учительскому авторитету, об укреплении которого мы все так заботимся. Одна моя коллега, сторонница метода «педагогического шока», помнится, своеобразно сформулировала свою позицию: «Всякого вначале надо крепко «стукнуть». А потом посмотреть: добавить или нет».

Учение не схватка с учеником, а сотрудничество, общение, исключаящее «дуэли». Поиск контакта — тесного и органичного. Возможно это, когда учебная зависимость между учителем и учеником перерастает в товарищеские и даже дружеские отношения. А у дружбы свои законы. В нее нельзя сыграть. Она требует равенства, а не подчинения. «Как думаешь?», «Посоветуй», «Помоги» — не раз обращался к ребятам. Бывало, ко всем сразу. «Несколько полезных советов учителю» — сочинение, которое ученики пишут в конце каждого учебного года. Еще один способ уйти от конфликтных ситуаций, в которых ни я, ни они не заинтересованы. Доброжелательность, терпимость, простота, человечность, взаимоуважение — стихия общения. Значит ли это, что учитель не может высказать своего возмущения дурным, неправым словом и поступком ученика? Может и должен! Но гуманными способами — без раздражения, обращаясь к его достоинству.

— Когда я учился в школе (было это в 42-м, в эва-

куации), то в журнале против моей фамилии стояла буква о, что означало — нет обуви, одежды. И таких в классе было немало. Какую же букву поставить сегодня против твоей фамилии, Саша? В чем нуждаешься ты? И ты, Надя?

В классе тишина. Но не враждебная — раздумчивая и воспитывающая.

Нет, не всех конфликтов надо избегать. Некоторыми, полагаю, необходимо дорожить. Не в тиши да глади, в борении с самим собой и обстоятельствами рождается человеческое в человеке. Общение — поиск не только контакта, но и конфликта как способа воспитания.

Как-то я предложил ребятам выпустить литературный журнал. Восприняли с энтузиазмом. Выбрали редколлекцию, корреспондентов. Сроки определил жесткие — две недели. Почесали в затылках. Кое-кто уже и пожалел, что согласился.

— А что за это будем иметь? — ухмыляясь спросил один, будто речь шла о шабашке, частном подряде.

— Да-да. В самом деле, как же это я упустил. Век живи — век учись, — растерянно зашарил по карманам, извлек бумажник: — Вот, извини, всё что есть. Думаю, на первый раз хватит.

И положил 10 рублей на парту, где сидел тот, который хотел что-то «иметь». У ребят даже не хватило духа переглянуться. Так я сознательно обострил конфликтную ситуацию. Однако, думается, во благо и ученику, и классу.

Цель общения как педагогического принципа, конечно же, не только в том, чтобы наладить человеческие, дружеские, истинно рабочие отношения между учителем и учеником. Есть и другая забота, не менее важная. На гуманистической основе решать острее проблемы времени. Воспитывать в человеке душу! Дисциплина, идейная и политическая сознательность, социальная и нравственная активность, ответственность — в конечном счете качества души! Общение, стало быть, не игра в хорошие отношения, а средство, помогающее учителю в сегодняшних непростых условиях выполнить социальный заказ общества.

Особенность юных — потребность в самоутверждении. Отсюда и чудачества, возмущающие учителей выходки. После иной ребячьей «шалости» не раз приходилось слышать от своих коллег ультимативное в адрес ученика: я или он? С трудом удавалось враждебное

«или» снова обратить в примиряющее «и». Честно говоря, люблю, когда ученики шутят. Юмор на уроке — необходимая разрядка, хорошее настроение, это, наконец, выход из, казалось бы, безнадежного положения. Конечно, шутка не должна быть пошлой и унижающей, а смех — злорадным зубоскальством. Как, чему и над чем смеются ребята — зависит от учителя. Владеть этим обоюдоострым оружием надо умело. Шуткой стараюсь возвысить, ободрить, защитить, помочь...

— Не прочитал книгу? Молодец! Теперь прочтешь ее совсем по-другому, если будешь внимательно слушать меня.

— Молчишь, не знаешь, как ответить на вопрос? Очень хорошо! Так всегда бывает, когда начинаешь думать.

— Не написал сочинение? Не огорчайся: тема не увлекла! О чем бы хотел написать, скажи?

— Принципиально не читаешь учебник — скучно? Отлично тебя понимаю. Тогда полистай что-нибудь из критической литературы...

— Вопросы есть? — спросил я как-то ребят, закончив объяснение.

— Есть. Я не расслышал, какие провокаторы: гнусные или грустные?

— Остроумно. Какое чутье слова! Молодец! Вот ты и будешь вести уголок юмора в школьной газете.

По-доброму смеются ребята, улыбается и сам автор неуместной шуточки, в которой, однако, был сигнал. Урок на этот раз я провел не очень интересно. Кстати, о сигналах. Чутко и вовремя улавливать их — надежный способ не осложнять своих отношений с ребятами. Любой конфликтной ситуации предшествуют сигналы. Они разные и по-разному проявляются. Иногда в шуточке. Симпатизируя и даже любя, ребята не всё в нас принимают.

Общение с подростком — это проверка нашей мудрости и человеческой зрелости. Увидеть за колкостью, своеволием и упрямством подростков ранимость, незащищенность, неуверенность в себе — значит понять и полюбить их. И помочь каждому из наших учеников состояться как человеку, а себе — как учителю. Это путь, которым идем к ним и к себе. Главный принцип обучения и воспитания.

В СУМЕРКАХ ЗИМНЕГО ВЕЧЕРА

Не знаю, как другим, но мне начало дается легче, чем финал. Во всех темах, без исключения. Вспоминаю Пьера Безухова, который «не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть перед выходом сказать что-нибудь особенно приятно». Как научиться «выходить», чтобы не с облегчением или безразличием, а с искренним сожалением проводили тебя? А самое главное, чтобы не утратился интерес к творчеству писателя и его личности?

На рубеже шестидесятых, когда еще только начинал педагогическую работу, «криком» моды считались узкие брюки и остроносые ботинки. Родители, педагоги, пресса забили тревогу: не тем увлекается молодежь, в погоне за модными тряпками забывает об идеалах отцов. И вот я предложил десятиклассникам написать сочинение на тему: «Я к вам приду...» Хотелось и самому многое понять — в Маяковском, в ребятах. Чем живут и о чем думают на переломе десятилетия? Что ищут и находят в «разорванных», как и само его время, строчках поэта?

Среди прочих ученических листков на всю жизнь запомнился один. Рьяный поклонник ветреной моды Гриша И., слывший среди учителей «трудным», а в кругу сверстников заводилой, свое на сей раз обширное сочинение, в котором почти как опытный литературовед исследовал «Стихи о советском паспорте», неожиданно закончил собственными стихами, подражая поэту.

Минуло
время
широких штанин.
Лишняя
это обуза.
И в узких
горжусь,
если я — гражданин
Советского Союза.

Недавно решил продолжить этот разговор. Чем интересен поэт революции для поколения восьмидесятых? Долго размышлял о том, что скажу ребятам на этом обобщающем уроке, чтобы разговорить их.

Миром победившей дружбы, человечности встает со страниц стихов и поэм Маяковского «республик Советских громадина». Ключевым эпитетом всей своей поэзии утверждает он величие новой общности людей. «За одно

А вот строчки из письма Маяковского: «Здесь идут дожди. Тоска, скука... Но зато есть кошечка, которая подает лапку...» «Подает», — значит, доверяет.

Долго рассматриваю две фотографии поэта. На одной — суровое, почти угрюмое лицо; усталые, безрадостные глаза; глубокие складки морщин. Но как неузнаваемо преобразается он на другой фотографии: улыбка разглаживает морщины, теплые искорки оживляют глаза, куда-то исчезает всегдашнее внутреннее напряжение. Что произошло? На руках щенок! Вспоминаю Лермонтова:

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе.

Громогласно заявивший когда-то «Клячу истории загоним!», Маяковский не мог пройти мимо упавшей, а по сути, загнанной лошади. В одном и том же огненном 18-м появляются на свет упруго-звонкий «Левый марш» и скрипично-флейтовое, точно обращенное внутрь себя «Хорошее отношение к лошадям». В двух голосах, нераздельно сопряженных интонацией личной ответственности за человека и мир, в котором живем, остается Маяковский в нашей памяти. Завтра буду комментировать и это программное для него, но, увы, непрограммное для школы «Хорошее отношение...». Обычный уличный случай — падение лошади на скользкой весенней дороге — вырастает в страстную исповедь горячей любви ко всему живому. Для зевак лошадь «упала», для поэта — «грохнулась». Подумаем и над этим. Хохочущие «штаны» (таким представляется Маяковскому обыватель Кузнецкого, на которого он смотрит сейчас глазами упавшей лошади) не видят, как

за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шерсти...

В лошади поэт открывает «душу». Значит, лошади могут плакать. Значит, каплища не от ветра — от обиды, что не дотянула... И от жестокости тех, кто хохочет и чьих лиц не видно. И просто не видно, и из-за слез...

«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».

Лошадь... слушайте... плоше... — повтором звука **ш** создает поэт «шелест» душевного разговора. Без этой **ранней** строчки («Лошадь, не надо»), сказанной голосом сердца, возможно, не родилось бы и это: улица «будто рана сквозная, так болит и стонет так». История с лошадью, конечно, метафора. В поэме «Хорошо!» поэт скажется иначе, откровеннее: «Нельзя на людей жалеть ни одеяло, ни ласку». Искренне благодарю ребят, если не засмеются, когда стану читать «все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь». Да-да, так прямо и скажу: спасибо, мол, ребята, за то, что правильно поняли. А после кто-нибудь (слабый, неуверенный в себе) растолкует это отнюдь не смешное «немножко» и «по-своему». Если же по привычке снова будет молчать в окружении поднятых рук, шутливо подбодрю: «Чего вы думаете, что вы их плоше?» А кончу урок, пожалуй, так:

И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

Каким иным средством, кроме Слова, создать счастливую иллюзию, «нас возвышающий обман», когда мы сами себе кажемся лучше, сильнее, чем есть?! «Отношением...» Маяковский напоминал солдатам революции, тем, для кого писал «Левый марш», что на своих штыках они несут не только Возмездие, но и Любовь, обжигающую нежность новых — «ласковых», «человечьих» — слов. Между прочим, лошадь-то у Маяковского мудрая: жить — это работать!..

Так складывался урок о любви, о доброте, о словах, а в общем, о хорошем отношении друг к другу. Не все из современников поэта, даже самых близких, слышали его голос. И в 18-м, и особенно в 30-м, когда, по-весеннему измотанный, одинокий и тоскующий, он вдруг до ясности ощутил, как безнадежно «скользит» под ним его дорога и все труднее идти по ней прежним «саженьем» шагом. С великодушием большого человека ждал он от своих друзей сочувственно-тихого, спасительного «не надо». Но зеваками могут быть и друзья, когда они заняты только собой.

Завтра проверю: будут ли ребята волноваться тем, чем волнуюсь я, «последнее» слово о Маяковском будет ли началом нового знакомства с ним? Иногда спрашиваю себя: доволен ли своей учительской судьбой? Да. Ибо

всегда нетерпеливо ждал своего завтра, которое проверит мое сегодня. Отвергнут или примут? Если примут, значит, было два «сегодня»: и то, что есть, и которое повторится. И два «завтра»: одним ты живешь уже сейчас, другое — ожидает тебя. Если удвоенные «сегодня» и «завтра» помножить друг на друга и годы, прошедшие среди ребят, невольно попадешь в число долгожителей — духовных, т. е. истинных...

Снова захотелось выйти на тихий полутемный Нейшлотский. Побродить, что-то еще додумать, досказать. Найти интонацию, с которой прочитаю «Хорошее отношение...». Непременно наизусть. Надо, чтобы очень поверили тому, в чем исповедуюсь. Первые строчки, пожалуй, начну с книги, а затем отложу ее в сторону и, как Маяковский, буду «разговаривать стихами». Его стихи. Почти всегда безлюдный, переулочек в вечерние часы и вовсе опустел. Лишь темная фигура справа одиноко двигалась навстречу. Впрочем... не одиноко. Какой-то «щен», то отставая, то забегая вперед, сопровождал ее. Ба! Да это тот самый — рыжий, белогрудый.

— Нашелся! — взволнованно сказал я.

— Давно, — хрипловато откликнулся прохожий.

Мы разговорились, будто знакомые. И снова мысль вернулась к уроку: как же назвать его? Ну, конечно же строчкой Маяковского, которая была и моей, и того, с кем только что разговаривал, и многих-многих: «Я люблю зверье...» Это ведь здорово, когда в одном «я» все «мы» — сближенные и духовно породнившиеся «хорошим отношением» к Бимам, Каштанкам, Музгаркам, Щеникам... С той поры Нейшлотский совсем не шутивно называю именем урока, который рождался в невеселых сумерках зимнего вечера.

ТЕЛЕФОННОЕ УБИЙСТВО

Наши беседы о Достоевском подходили к концу. Не сегодня-завтра начнем читать Льва Толстого. Люблю эти промежутки между темами. Но не как передышку. Как возможность провести урок повторения. Особый. Без предварительных «повторите это, то». Неожиданность, интрига — главный фактор успеха. Не беда, если что-то ускользнуло, забылось. Значит, в памяти осталось другое. «Что-то» и «другое» в совместной работе сольются воедино. Нигде, пожалуй, так много не говорю сам, как на уроках повторения. Казалось бы, инициативу всецело

нужно отдать ребятам. Пройденное — их стихия. Правильно. Но потому и разговорчив, чтобы вызвать у школьника не реплику, а целый монолог — **внутренний**, наперед зная, что он состоится. Во-первых, в «промежутках» люблю повторять и непройденное, т. е. увеличивать внимание; во-вторых, каким бы ни было повторение: проблемным или тематическим, оно всегда (!) **воспитательное**. Здесь уже иначе расставляю акценты: уроку — учебное, повторению — нравственное знание.

Приглашаю, читатель, на один из таких уроков. Начну издадека.

— Одно время я жил рядом с Дворцом малютки. Это была веселая, хлопотливо-шумная часть улицы. Счастливые мамы и папы в окружении родственников, знакомых спешили к назначенному часу на регистрацию младенца. Щелкали фотоаппараты, звучали магнитофоны, кто-то щедро расплачивался с водителем такси. Радостная взволнованность, казалось, витала в воздухе. Прохожие улыбались, оборачивались. В толчее людей, окружавших молодого отца, еще неловко державшего свою кроху, завернутую в розовое или голубое одеяльце с кружевной ослепительно-белой накидкой и пышным бантом, я видел, однако, не только счастливые, улыбчивые, но и серьезные, озабоченные лица. В самом деле, неизвестно, кто и что вырастет из крохи. Сколько неясного, тревожного! Хорошо, если в нарядном шелковом одеяльце, надежно защитившем ребенка от превратностей погоды, любопытных взглядов, существо, которое, возмужав, скажет:

...Но будешь жить ты в памяти людской,
Пока в ней жить моя способна лира.
Пройдут года — поклонник верной мой
Ей посвятит досуг уединенный,
Прочтет рассказ и о твоей судьбе
И, посетив поэта прах забвенный,
Вздыхнув о нем, вздохнет и о тебе.

Кстати, чьи строчки? Вот так бы, как Некрасов, каждому из нас поблагодарить свою маму — ответственностью за жизнь, которую она тебе дала и которую ты обязан отдать людям.

Благо, если в голубеньком, синеньком, красненьком одеяльце существо, которое в 13—14 лет чем-то уподобится... Наташе Ростовской. С ней еще предстоит встретиться. А пока желаю девочкам, как Наташа, обрести

самую верную, надежную и задушевную подругу... в своей матери, которой во всем можно довериться.

Прекрасно, если дочь будет чем-то похожа на... Аню Раневскую из «Вишневого сада». Всякое бывает в жизни. Иногда и мамы беспомощны, легкомысленны, точию дети. Но как бы ни была виновата перед тобой и собой, а в общем, перед людьми наша мама, надо уметь великодушно протянуть ей руку помощи.

А если в желтеньком, красненьком, голубеньком одеяльце потенциально твой будущий убийца? Первенец, которому столько отдано, тебя же и сокрушит? Двое подозревают, что Раскольников «окровавился». Располагающий кое-какими «психологическими черточками» следователь и... ничего не ведущая мама. По-своему и она попадает под дворницкий топор, которым ее Роденька надеялся помочь человечеству. Но то, что не принимает мама, могут ли принять люди? А тургеневский Базаров? Неспроста ведь порезал палец, хотя и случайно. Об Одинцовой думал, когда анатомировал труп тифозного, не захватив даже «адского камня». Что ни говори, а в итоге лагерь «отцов» одерживает над ним победу — в лице холодной аристократки Анны Сергеевны. И любовь, и досада на себя, и некая безысходность вместе с трагическим одиночеством породили то состояние души, когда руки невзначай могут оборвать жизнь. Но подумал ли Базаров о своих «старичках», которых любит безмерно, как и они его? Включил ли он их в свою «теорию»?

«Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын...»

Отложив в сторону роман «Отцы и дети», беру «Поднятую целину». Значит, и тут звучит та же тема.

— Даже после убийства Хопровых, косвенного, но участия в расправе над чекистами Хижняком и Бойко у Островнова все-таки была некая надежда и возможность «вернуться» к Давыдову. Но когда по указке Половцева Яков Лукич умертвляет не в меру болтливую старуху мать, эту возможность он теряет навсегда. По меткому слову Шолохова, теперь он «отпетый», и уже не интересен ни писателю, ни нам. В эпическую ткань романа не случайно вплетается лирическая страничка о матери Островнова, которая по «шагам» узнавала своего первенца: от Яшутки — до седого как лунь Якова Лукича.

А теперь дадим уроку неожиданный поворот.

— У кого есть телефоны? Чуть ли не у всех. Но все ли знают, что телефон — не только удобно, комфортно, современно, но и ответственно? От каждого требует высокой нравственной культуры, чуткости, доброты. Мы же не видим лица того, с кем разговариваем, и подлинную интонацию не всегда улавливаем. По этой причине телефон порой не столько связывает, сколько разобщает. А иногда... Но сперва запишем тему урока, к которой исподволь идем.

Напомню, что часто тему даю не в начале, а где-то посередине, иной раз даже в конце урока. Расчет прост: во-первых, заинтриговать **свободным** разговором; во-вторых, увлечь моментом, когда даю тему, оборотить **внимание** к сердцевине урока; в-третьих, вызвать новую волну **активности** среди тех, что устал или потерял интерес к беседе.

— Итак, запишем тему урока: «Телефонное убийство».

«Безумную Евдокию» А. Алексина читали, оказывается, многие. Что ж, еще острее пойдет разговор.

— Если уж врачи не советуют иметь ребенка, так лучше его не иметь. Судьбу не обманешь. Но Надя (с больным сердцем!) отважилась не поверить врачам. Слава богу, всё обошлось. Появилась Оленька. Ну конечно же необыкновенная, потому что единственная, долгожданная. Кроме того, и впрямь в ней было что-то милое, подкупающее. Словом, чудо-Оленька. Мама от радости забыла про себя, о том, что когда-то неплохо пела, папа (тоже от радости) забыл о том, что жена больна, и то, что совсем недавно писал рассказы. Но если папа забывает маму, а мама папу и оба себя, то как помнить о них Оленьке? Причем здесь телефон? А притом, что и он герой повести. Что помешало Оленьке позвонить домой: мол, из похода вернется чуть позже других, а причину объяснит, когда вернется? Но телефон зловеще молчал. И наконец звонок. Кто первый должен взять трубку? Разумеется, муж, если он еще помнит о больной жене. Но взяла, нет, схватила, трубку Надя. И снова опасная игра с судьбой. Не надо обманывать того, с кем говоришь. Даже привыкший ко всему дежурный милиционер (а звонил именно он) не предложил бы матери «опознать» девушку в синих брюках, не выдай Надя себя за учительницу. Люди умеют щадить нас, когда мы не лукавим. Но случилось непоправимое: повторяя «Я ее

не узнаю», потрясенная мама лишилась рассудка. И в тот же момент (такое бывает не только в книгах) в дверях появилась Оля, счастливая, звонкая, с букетом полевых цветов: для мамы! Но... опоздала. Всего на один телефонный звонок.

Не люблю смотреть на часы, когда рассказываю, ибо в любую минуту готов поставить многоточие и продолжить в следующий раз. Но тут я то и дело украдкой поглядывал. Очень нужна была завершающая точка. И поможет мне в этом теперь другая «страничка» — из сборника прогрессивного греческого поэта П. Антеоса. Сам по себе творческий прием заканчивать урок стихами не нов, но великолепен. Это и поэтическое обобщение, и еще одна свежая мысль, и последний, нередко самый звучный и важный аккорд. Стихотворение «Беззащитные» читаю в сокращенном виде, опуская все то, что непосредственно и кратчайшим образом не затрагивает стержневой мысли урока.

Братья мои по двадцатому веку!
Всемогущие! Мы беззащитны, как дети...
Обороняясь тысячелетия
Копьями, пушками, электронами,
Мы же остались незащищенными
В области духа, в сердечной сфере!
Так зачем выходить на дорогу, братья
Каменный топор пряча
В складках современного платья?!
Зачем под улыбкой, по-модному сшитой,
Каменную ненависть скрывать человеку?..
Мы все так беспомощно жаждем защиты,
Братья мои по двадцатому веку!..
Много ли надо, чтоб нас убить?
Наповал?..
Один поцелуй. Один телефонный звонок.
А может быть,
Только один намек...

Так «промежуток» между Достоевским и Толстым позволил сделать очень важную «остановку» в непрерывном потоке уроков. Не в конце четверти, полугодия, года, а в промежутках открывались нам нравственные глубины литературы.

— Еще раз поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть телефон, — попросил в конце урока.

Неторопливо, раздумчиво в этот раз поднимали руки... «За телефон надо не только платить, но и отвечать!» — записал кто-то в своей тетради.

Ну а теперь о предыстории урока. По молодости каза-

лось, что мой авторитет пошатнуть может только один человек — я сам! И был неправ. Ибо тут же нашелся еще один и еще. А в общем, половина класса, которая однажды не выполнила задание. Разозлился и каждого попросил назвать домашний или рабочий телефон родителей. В какое время и кому удобнее позвонить? Легко и просто, как-то даже механически называли ребята номера, имена. Жутко стало за это «удобство» цивилизации. Лишь протяни руку к трубке — и содрогнется чья-то душа, а то и заплачет. Поначалу хотел красочно нарисовать взрывно-опасный вечерний разговор с родителями и двумя-тремя минутами устыдить ребят в их холодности, эгоизме. Но тут же понял: нужны не минуты, а урок. Его темой стала реплика, в сердцах сказанная ученику.

«С отцом или матерью разговаривать?» — спросил одного. — «Все равно», — был ответ. «Да ведь это же... телефонное убийство! Твоя мама только что вышла из больницы».

В классе стало тихо, как на выпускном экзамене, когда вскрываешь пакет с темами.

ЗАПАС ВЫСОТЫ

Очередность изучаемых в школе произведений таит немалые трудности. Сложнейший по замыслу и философии «Герой нашего времени» предшествует гораздо менее сложной и увлекательной «Грозе»; «Отцы и дети» почти в таком же соотношении с поэмой «Кому на Руси жить хорошо». Восходящего витка в духовном развитии школьника вроде как и не получается. Достигнутый уровень на разборе одного литературного шедевра тут же оборачивается спадом в прочтении другого, более доступного. Вместо спирали — кривая. Между прочим, одна из особенностей психологии школьника-старшеклассника именно в том, что он не любит, а порой и не хочет работать ниже уже однажды взятой им высоты. Это обязывает словесника, когда он берется за новую книгу, строить урок так, чтобы он поднимал ученика еще на одну ступеньку в его духовном развитии.

...Уже с неделю как закончили разговор о Чехове, но все еще продолжали дискутировать о Раскольникове, Андрее Болконском. На очереди — бальзаковский «Гобсек». Великий, но бесспорный. В небольшой новелле запечатлен классический тип западноевропейского ростов-

щика-дельца. О Гобсеке обычно рассказывали ребята. То были доклады, чтения-комментарии, уроки-вопросники и т. д. Вот и сейчас, едва закончится перемена, бойкая Катя К. поведает одноклассникам о высохшем, беззубом, но безмерно богатом старикашке который казался иногда «сказочным колдуном». Новелла ребятами прочитана, но после сложной и тонкой работы над «Вишневым садом» вряд ли откроется что-то новое. В душе, как всегда, немного переживал. И напрасно. Моя Катя К. неожиданно заболела. Урок пришлось давать самому. Прикинул так, сяк и понял, что будет еще труднее, чем учение. От меня ждали не «знакомства» с зарубежной литературой (дескать, помимо Достоевского, Чехова есть еще и Бальзак), а углубления нравственно-философского разговора, который начался давно и выстраивался по спирали. За те несколько мгновений, когда писал на доске тему («Страсть, пережившая разум»), подобно Андрею Болконскому у дымящейся гранаты, чуть ли не обо всем передумал. Опыт подсказывал: урок нужно сделать беседой, связав русскую и зарубежную классику, дабы Гобсек вызвал такой же интерес и споры, как Печорин, Базаров, Раскольников.

Попросил ребят назвать знакомые им персонажи, чем-то напоминающие Гобсека. Оживились. Плюшкин, Порфирий Головлев, Алена Ивановна, Скупой рыцарь, мольеровский Скупой... Кто-то робковато назвал Ионыча. Колонкой дал на доске этот список. И снова вопрос: в ком из них больше Гобсека, кто ближе всех к бальзаковскому герою? Сравнить каждого с каждым и с Гобсеком и убедить, что в своем выборе ты абсолютно прав, многим показалось занятым. Большинство назвали Плюшкина. Тот и другой не столько господа, владельцы своих богатств, сколько одержимые болезненной подозрительностью сторожа. Внешне невозмутимое спокойствие бальзаковского скряги в Плюшкине гротескно усилено «деревянными» лицом, что еще больше заостряет присутствующее им обоем, как, впрочем, и всем скрягам, «мертвое», отрешенное. В Плюшкине оно заметнее, поразительнее в силу крайностей, свойственных русскому характеру: «развернуться» или «съежиться», по выражению Гоголя, во весь размах. Плюшкин съежился. Тем не менее на Руси он «явление редкое», в то время как Гобсек для Франции — фигура типичная, распространенная.

— Плюшкин до Гобсека не «тянет», — деловито высказался ученик. — Гобсек — философ, а этот скряга.

Просит Чичикова «хоть по две копейки пристегнуть» за умерших. А зачем ему, спрашивается, копейки? Вряд ли объяснит. Потому что крохобор. А вот Гобсек знает, что дают ему лишние «копейки».

— Верно. Сладкое удовольствие «проникнуть» в чужую жизнь, «заглянуть» во все изгибы человеческого сердца; «увидеть» все, как есть, без прикрас. Он не просто и не только накопитель, а цинично торжествующий и по-своему утонченный мыслитель, сознающий логику неотвратимого, всеилие «тихонького» ростовщика над суетой и блеском аристократии, умеющей проживать, но не наживать капитал. Гобсек — предприимчивый делец; Плюшкин — всеядный крохобор, после которого, как пишет Гоголь, «незачем было мести улицу». Гобсек не улицу, карманы очищает, причем чистеньким способом — векселями. Он действительно похож на Плюшкина, но, однако, и далек от него.

Значит, Порфирий Головлев? Снова дискуссия. Гобсек умнее, расчетливее. Потому и откровеннее. На нем нет маски «святоши», «милого друга», «благодетеля». Мерой процента, не скрывая этого, определяет он свое отношение к человеку. Порфирий же, напротив, всячески маскирует себя. Тем не менее «звонкое пустословие» Головлева и однословные реплики Гобсека («Верно», «Возможно», «Правильно») поразительно выражают сходство желаний — разорить, обездолжить. Подобно папаше Гобсеку, Порфирий становится самым состоятельным в округе... И вот тут-то опять проявляется «русское» начало. В отличие от Гобсека Порфирий ощущает пустоту и бессмысленность прожитой жизни, свою вину перед теми, кого умертвил. «Ужасная правда осветила его совесть», — пишет Салтыков-Щедрин. Он узнает муки души, он страдает. Совесть неведома Гобсеку. Умирая, тот смотрит не в себя, как Порфирий, а на камин, где в куче холодной золы спрятаны золото, серебро.

Теперь уже ясно: не Плюшкин, не Порфирий, тем более не Алена Ивановна, старуха процентщица, а Барон из «Скупого рыцаря» по своей накопительской психологии ближе других к Гобсеку. Пусть не так изощренно, как Гобсек, но с таким же наслаждением «читает» он в своих старинных дублонах людские судьбы, историю «обманов, слез, молений и проклятий». Подобно Гобсеку, ощущает себя демоном, которому подвластен мир, он же — ничему. «Лишь захочу... И музы дань свою мне принесут, И вольный гений мне поработится...» — говорит Ба-

рон. Если захочу... Но захочет ли?! Все то же неразрешимое противоречие. С одной стороны, капитал — полная свобода «хотений»; с другой — неоглядная бездна самопорабощения, нравственный тупик, безумие страсти, победившей рассудок. Барон сам становится одной из тех монет-«биографий», какими наполнен его сундук. Рукой безжалостной скупости плотно и навсегда закрывает он крышку сундука и над самим собой.

...Так с разных сторон, сравнивая Гобсека то с одним, то с другим персонажем, приближались мы к его полной оценке. Мертвая Алена Ивановна не выпускает из рук «заклада». Точно так же, только взглядом, «держит» свой заклад в камине уже почти мертвый Гобсек. «Иной раз я даже спрашивал себя, какого он пола», — повествует рассказчик в новелле Бальзака. О том же спрашивает себя и Чичиков, подъезжая к усадьбе Плюшкина. «Ой, баба! Ой, нет!» — мучается он догадками. Накопители не только скупые, но и бесполое рыцари. Разве Алена Ивановна чем-то не похожа на Плюшкина, а Порфирий Головлев на Алену Ивановну и все они — на Гобсека?

Теперь оставалось только лишь несколькими штрихами акцентировать победу «ростовщика» над «рыцарем». Всего страшнее и отвратительнее она в Гобсеке. Или не так? Класс задумался. «Гобсек» давал тот необходимый запас высоты, чтобы нелегкий майский разговор о литературе, как и прежде, был поступательным. Выявляя новизну «старого» на пути к «новому», мы обретали эту высоту.

Не раз убеждался: зерна будущих уроков искать надо и в том уроке, который даешь сейчас. В подробностях не упущены ли возможности? Если нет, то все ли подробности, таящие возможности, прозвучали? По этой причине гораздо охотнее перечитываю тексты после проведенных уроков: страницы будто оживают, как векселя Гобсека или монеты Барона. Вижу лица ребят, слышу их голоса, и вдруг, как на ладони, — упущение. Иной раз досадное (надо же — не заметил!), а иногда счастливое: хорошо, что не заметил! Оно-то и есть новый урок.

В тот день, когда обсуждали «Гобсека», вновь перечитал «Скупого рыцаря». Не без помощи Л. Толстого обратил внимание на одну подробность. В монологе Барон уподобляет себя царю, который

...однажды воинам своим
Велел снести земли по горсти в кучу,

И гордый холм возвысился — и царь
Мог с вышины с весельем озирать
И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли.
Так я, по горсти бедной принося
Привычну дань мою сюда в подвал,
Вознес мой холм — и с высоты его
Могу взирать на все, что мне подвластно.
Что не подвластно мне? как некий демон
Отселе править миром я могу...

Совсем недавно с высоты у небольшого могильного холмика Л. Толстого нам открылся мир, больший, чем земля. И вот они, другие «холмики», воздвигнутые царями, ростовщиками... Не сопоставить ли их с толстовским? Чья власть могущественнее? Кто дольше и дальше «правит миром»? Чей «холм» надежнее и выше — тот, что из горстей земли, золотых монет, или воздвигнутый духовными исканиями? Спускаясь в мрачный подвал к своим сундукам, Барон каждой новой горстью не увеличивал, а уменьшал человеческое в себе. И наоборот, каждой новой страницей — духовной горстью — Толстой себя и нас поднимал к той «синеющей бесконечности», какая открылась однажды сквозь медленно ползущие облака Андрею Болконскому и на фоне которой ничемным и жалким вдруг показался ему стоявший над ним его кумир — Наполеон. С разных «холмов» смотрели они друг на друга.

От «Гобсека» и «Скупого рыцаря» вдруг снова захотелось вернуться к Толстому: обозначился новый и значительный запас высоты.

КОММЕНТИРУЮ СЕБЯ

В разных классах приходилось работать, а вот в педагогических (у талантливого директора-педагога 307-й школы Федора Ивановича Михайлова) — впервые. Ребята, в общем, те же, обыкновенные, но пожелавшие стать учителями — словесниками, историками, математиками... Если класс педагогический, значит, и урок должен быть другим, иначе как научить профессии? Придумывал разное. Учительские дневники, куда нередко по ходу урока записывали мои пожелания, предостережения, советы. Вот выдержки из такого общего дневника.

«Импровизация — душа; план и конспект — мысль урока».

«Методика — это хорошо знать, с чем идешь в класс, а знание отыщет путь».

«Свое» всегда с издержками и накладками. Но своего бояться — от себя отказаться».

«Любое наше состояние, даже удрученное, подавленное, сделаем компонентом, а не помехой мастерства».

«Анализировать — это объяснять то, чего не знают другие».

«Плохой почерк не своеобразие, а безобразие».

Иногда, сделав на уроке «остановку», убеждал, как не бояться урока; видя всех, разговаривать с кем-то одним; наводить порядок на уроке самим уроком. Но «остановками», тем более эпизодическими, кратковременными, обо всем не расскажешь. Искать надо было что-то другое.

Если ребята — партнеры, единомышленники, попробуем подойти к ним иначе. «Достаньте тетради!» — наша обычная реплика. А что если так: «Достанем тетради!» Вместе с ребятами кладу на стол свою тетрадь и я. По ходу урока и на виду у всех старательно записываю все то умное, интересное, что они говорят друг другу, мне, а я им. Иногда кого-то слово в слово прошу повторить сказанное. И впрямь разве не любопытно записать: «Если бы Ленского не убил Онегин, его бы убила Ольга...» Попутно и стиль подшлифовали, уточнили: а кого «его»? Безликих, инертных, средних на таком уроке нет. Арсенал педагогических средств расширен коммуникативным началом, которое, по словам К. Маркса, является «одним из способов усвоения человеческой жизни». Не умоглядно, а в яви, творчески общаясь и духовно обогащаясь, учимся друг у друга профессии. В обоюдности большого внимания обеих сторон рождается уже не мой и не их, а наш, общий, урок.

Учительские дневники и такого рода тетради — осязаемый шаг к цели, но сложностей и тайн профессии они не раскрывали.

Те, кто завтра и на всю жизнь встанет за учительский стол и сменит нас, должны усвоить: труду, не работая, не научишься! Значит, встань к столу — и работай. На себе узнаешь, сколько стоят 45 минут урока. И почему хороший урок выгоднее плохого, хотя тот и другой будет оплачиваться одинаково. Ребята буквально вставали в очередь за уроком. Наблюдать со стороны их работу — неестественно: для иного, пожалуй, обидно, а кого-то и сковывает. Уйти из класса тоже нельзя: уроку необходи-

ма профессиональная оценка. Раствориться в массе ребят, т. е. сесть за чью-то парту? Но ведь это та же позиция «со стороны», только завуалированная. Решил: за парту! Но не как учитель, а как ученик, со всеми его правами и обязанностями. Не притвориться, а быть учеником. На этом уроке — «трудным» (ну-ка справишься!); на том — «средним» (заинтересуй, увлечи!); на другом и вовсе «интеллектуалом» (попробуй дотянись!). Был нескладно рад, когда на открытом (!) уроке по Некрасову ученица, которая вела урок, вдруг сделала мне замечание: «Женя Ильин, сидите спокойно, вы мешаете». Никто, кроме гостей, даже и не улыбнулся. Значит, я не просто сидел за партией, а был учеником. Эксперимент обогатился еще одной находкой: войди в мою роль, как я в твою. Но, конечно, не только учеником, чаще учителем сидел за чьей-то партией. Эффект не меньший: по-особенному слышат нас, когда не видят. Откровенно, я бы оплачивал ребятам каждый проведенный ими урок. Стимулы бескорыстия — хорошо, великолепно! Но и материальные импульсы, как на производстве, тоже нужны. Суть не в размерах заработанного, а в достоверном приближении к еще одному и отнюдь немаловажному аспекту всякой профессии. Тех, кто удивил уроком, называл по имени и отчеству. Лена Сидоренко стала Еленой Петровной. И то, что ученик — вторая жизнь учителя, ощутил совсем по-особенному. Впрочем, иная «звезда», окрыленная успехом, возомнит о себе такое, что не подступишь. Немало сил отдашь своему уроку, чтобы, блеснув мастерством, кое-кого из заносчивых питомцев тактично поставить «на место», а попросту убедить в той разнице, какая пока отделяет его от тебя. Цена каждой минуты такого урока безмерно высока. И однако число ребят с тройными инициалами прогрессировало медленно, а затем остановилось на мертвой точке. Одно дело хотеть и совсем другое уметь. Урок — не доклад или лекцию прочитать, а выполнить сложный комплекс специальных умений. Стал искать новые формы работы с «педагогическими».

Попросил, чтобы в расписании были сдвоенные уроки. На первом кто-то из ребят дает урок, на втором ту же тему раскрываю я. «Попробуй сперва сам!» — принцип творческого воспитания учителя. Не получится — продублирует старший. Оба и остальные выйдут на контрасте. Родилась даже шутливая рубрика: «На первом — провалимся, на втором — поправимся!» Скажут: на одну

тему два часа? Ну, во-первых, не на одну (профессиональную надо тоже учить), а во-вторых, еще и на 30—40 будущих учителей, для которых можно быть немного щедрее. В педклассе не «тема» и даже не «предмет», а сам ученик наипервейшая ценность. Волнует не только что, в какой мере и насколько глубоко знает он, но и в какие моменты урока наиболее активен и почему. Активность — решающий фактор профессии. Тем не менее расходовать часы таким вот образом, значит, наполовину выполнить учебную программу. Снова тупик.

Когда особенно одолевали сомнения, обращался за поддержкой. «Мы сами еще не знаем, как с вами работать, помогите!» — просил ребят. Советовали: поменьше заданий, почаще включать в уроки и не говорить фраз: «Вы будущие учителя... на вас равняются... вы обязаны... вы должны...» И верно. Ребята не хуже нас понимают свои обязанности. Самообразование и самовоспитание — в основе учебной деятельности «педагогических». Да и как иначе, коли уж выбрал этот путь? Что касается заданий, то и тут они правы. В перегрузках добросовестный гибнет, а ленивый совсем перестает учиться. У «педагогических» в основном одно задание: готовить урок! Все остальное усваивается в классе. Почаще включать в уроки... Но, к сожалению, это невозможно. Качество знаний, если оценить их и мои уроки, существенно разное. Мог ли я терять это качество? Так где же выход?

Однажды на телеэкране увидел работу именитого хирурга в операционной, оборудованной по последнему слову техники. Поразило, однако, не оборудование и даже не искусство хирурга, доведенное до автоматизма. Удивило, что почти каждое движение рук он комментировал, а три или четыре десятка начинающих хирургов, расположившихся ярусом, наблюдали и слушали. В какие-то моменты он приостанавливал операцию и, поглядывая на кого-то, говорил только ему. И снова лицо склонялось к столу, а губы что-то произносили. Даже когда медсестра ватным тампоном вытирала ему вспотевший лоб, он объяснял секреты профессии. По сути, выполнял не одну, а две операции: спасал страждущего и передавал свое искусство другим. Не без досады на себя и своих коллег подумал: «Хирурги-то опередили! Умеют синхронно и выполнять, и объяснять работу». Это и есть подлинно рациональный, комплексный подход к делу. Решил последовать их примеру: «оперируя», рассказы-

вать, т.е. вместе с фактурой давать и теорию урока, обычный учебный анализ увязать с методическим. Пушкина, Чехова, Шолохова — сквозь призму будущей профессии. Увиденный «механизм» урока отныне станет нашей главной наглядностью.

Так родилась модель **учительского** урока. Не только в педклассе, но и в любом классе, как, впрочем, и в педвузе, учебная работа может быть выстроена по типу этой модели. Познавшие подоплеку наших «секретов» ученики, студенты, аспиранты станут лучше и продуктивнее учиться, творчески овладевать знаниями. Но, выполняя свою «операцию», в отличие от хирурга, иду дальше: даю кому-то возможность продолжить ее и уже объясняю не свою, а другую, подчас более любопытную. Короче, идем к знаниям, исследуя маршруты и технологию того, к чему, через что и как идем и какие умения необходимы. А это, наверное, поважнее, чем просто «дойти», «уложиться». Способ оптимальной помощи найден: уроками учить уроку!

Знатоки возразят. Уподобить учителя хирургу — это не укрепить, а ослабить и даже вовсе оборвать связи с учеником. Хирургу можно «комментировать себя»: его пациент под наркозом. А ученик? Здоров и бодрствует. Стерпит ли он «секреты» его же собственного интереса к уроку и к учителю, который вызвал этот интерес? Не будет ли выгледеть сам учитель бестактным, самонадеянным, препарирова живые процессы в душе — своей и ученика? И вообще, можно ли таким-то вот образом (без наркоза!) работать с чувствительной и чуткой до всего личностью (!!!) старшеклассника? Поначалу и сам так думал, высказывая те же опасения. Но напрасны были тревоги. Ребята все, как один, пренебрегли «чувствительностью», желая поскорее увидеть себя в новом качестве, т.е. вместе с учебными знаниями обрести и основы профессии. И тогда я вспомнил пушкинского «Пророка». Шестикрылый серафим «десницею кровавой» выполняет сложнейшие «операции» над живым, неуслышанным (наркоза не было) и еще более чувствительным, чем мы, поэтом. Вырвал язык, грудь рассек... Оперировать изнемог, лежал «как труп». В чем же секреты столь завидного терпения, выдержки? Ответ дает первая строка стихотворения: «Духовной жаждою томим...» У «педагогических» есть эта жажда. Подобно пушкинскому герою, требуют они духовных операций, как бы они ни были сложны и болезненны. Ни одного урока не услы-

шал я от ребят в свой адрес. Зато коллеги упрекали: «святылище школы — класс! — можно ли делать «проходным двором»? На учительских уроках, желая понять их конкретику и специфику, часто бывали и гости, приезжавшие отовсюду. Уже не ребятам, а им открывал гораздо более сложные тайны урока, отодвинув на какое-то время самих ребят. Но даже здесь они были активны, лояльны. Более того, требовали тех же профессиональных откровений и на уроках, когда не было гостей. Нет, это хорошо, что мои «пациенты» не усыплены. По крайней мере всегда остановят руку, когда она работает неверно. Они не пассивные объекты операции и не просто слушатели, а помощники, наблюдающие и корректирующие работу учителя.

Читатель! Приглашаю тебя на один из уроков в свой педагогический класс. Но прежде небольшое отступление.

Близился юбилей нашей победы над фашистской Германией. Юбилей издавна отмечаю на уроках. Не потому только, что жалею внеурочное время ребят, т. е. их самих: всё, что «сверх», говорил мой опыт, во вред. Была и другая причина. Разговор по знаменательному поводу, заключенный в жесткие рамки урока, всегда по-особенному значителен и весом. Только что отшумела двухчасовая тема «Солдаты в «Войне и мире». На очереди — Наполеон и Кутузов. Но свою очередь (всего на один урок) они уступят... молоденькому лейтенанту Николаю Плужникову, герою «В списках не значился» Б. Васильева. Всерьез о современном писателе удастся сказать, когда рядом классик. Вычленяется то общее, что связывает разные эпохи. Через далекое, минувшее яснее видится и недавнее. На уроке три действующих лица: учитель, комментатор, делающий своеобразные педагогические «врезки» (их функции выполняет в данном случае автор этой книги), и ученики. Итак, мы на уроке.

ОБРАЗНАЯ ЗАДАЧА

Комментатор. Иногда застывшую на морозе машину легче завести, чем урок. Не поможет ли искусство? Интрига, например. Она сразу (I) дает внимание. Проверьте. Разговор предстает серьезный. Кое-что, быть может, и многое придется записать. По принципу: даже плохие чернила лучше хорошей памяти. Наша память в какой-то степени в наших «руках», когда они деятельны.

Сделать необходимые памятки, зарубки, без которых иногда ускользает главное, необычайно важно. При случае как-нибудь расскажу о дневниках Толстого, записных книжках Маяковского, о своих блокнотах. А пока — достанем тетради!

Учитель. Красная Армия отступала... А здесь, в руинах Брестской крепости, не смолкая, гремел бой. Захваченные врасплох, полуодетые, оглохшие от бомб и снарядов, вдавленные в стены, заваленные обломками, оттесненные в подвалы, насмерть стояли защитники Бреста. Последний глоток воды — пулеметам! И вот в живых только один — Плужников, герой книги Б. Васильева «В списках не значился». Словно памятник солдату, вырастает он из груди камней, чтобы сказать фашистам последнее, сокровенное: «Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?» Посчитаем эти «шаги»? Не в буквальном, конечно, смысле. Возможно, кто-нибудь посоветует, как это сделать? Всем или только учителю «посчитать»? О каких «шагах» вообще идет речь?

Комментатор. Использовать методическую инициативу учащихся: что будем делать? Как будем делать? Для чего будем делать? — особенность урока, где не в одиночку или со своими опытными коллегами, а с классом решаются профессиональные вопросы. Здесь нет и не может быть этого: один учит, остальные учатся. Здесь каждый учит и каждый учится. Школьники особенно активны, когда всерьез, по-настоящему передаешь им некоторые учительские функции. Разбудить инициативу — не прикинуться незнайкой, сыграв в протачка, а действительно попросить помощи у тех, кому хочешь помочь, то есть передать свое умение. Оно приходит именно в тот момент, когда сообща решаются ключевые проблемы.

Выбрали «беседу»: кто как умеет скажет свое; «шаги» определяют, насколько каждый понял и решил образную задачу. Речь пойдет, конечно, о Плужникове, о мужестве и стойкости советского воина, о мастерстве писателя, воплотившего в художественном образе лучшие черты героя сороковых годов.

Первыми, как водится, начинают самые нетерпеливые и отнюдь не самые умелые.

Ученик. Я бы измерил «шаги» количеством убитых фрицев. Сколько они сделали атак от ворот крепости к амбразурам, откуда стреляли наши? Почти верста! Но вся она завалена трупами...

Ученик. Раньше фашисты за день проходили сотни верст — французских, польских, бельгийских, а тут за год (!) не одолеть одной — русской!

Ученик. Готова «молниеносную» войну, гитлеровцы считали версты до Москвы, а пришлось... шаги — уже на самой границе.

Ученик. Когда у Плужникова заклинило патрон, то немец вместо того, чтобы стрелять, с испугу встал на колени и поднял руки. Один вид лейтенанта внушал ужас. «Немец-то не тот пошел», — решили в подвале.

Учитель. Интересная находка. Но и Плужников уже «не тот»: не потеют теперь от страха его ладони, сжимающие оружие. Почему бы не сказать об этом в контрасте с перепуганным немцем? Интересное надо «раскручивать». Вот послушайте...

Комментатор. Еще один творческий прием: не делать тайн из собственного успеха, рассказывать ученикам, как получается у нас все то, что взволновало их, и что нужно им, чтобы и у них, как у нас, получилось. За естественным и насущным увлечь должно неотступно следовать и практическое научить. Совет, творческая подсказка, зримый пример раскроют перед классом «технологии» умения. Это — уже повести за собою всех, а за кем-то, вдруг опередившим тебя, пойти самому, т. е. еще энергичнее повести всех. Реплики учащихся — незапланированные варианты новых путей, интонаций, приемов... Но, оказывая помощь кому-то одному (с расчетом на всех!), другому надо дать возможность продолжить урок. Важно, чтобы импульсы к расширению анализа исходили и от ребят.

Ученик. Писатель честно показывает советских. Они разные. Есть Плужников, а есть и Федорчук, который хочет «переждать» войну, отсидеться в подвале. Не вышло — к фашистам...

Учитель. Действительно, правду войны Б. Васильев рисует такой, какая она есть. Напуганные страхом за себя, предатели укорачивали врагам родные версты. Но не о них речь. Вернемся к Плужникову. Еще и еще раз взгляды в нравственный облик героя.

Ученик. Есть в романе интересный эпизод, когда Плужников берет немца в плен и отпускает, потому что пожалел.

Учитель. Эпизод или проблема? Надо ли жалеть врага? Есть ли на войне место гуманизму? По вине Плужникова гибнет всеми любимая тетя Христя: спасен-

ный фашист тут же приводит карателей. «Я виноват... один я!» — восклицает Плужников. Нет, не он один, а все мы, советские, «виноваты» в том, что, любя и уважая человека, не научились в такой же мере ненавидеть врага. В грозных испытаниях придет к нам эта суровая «наука ненависти», и уже, к примеру, Травкин из повести Эм. Казакевича «Звезда» не повторит ошибки Плужникова.

Ученик. Но тогда уже не фашисты, а мы мерили свои версты, идя на запад...

Учитель. Очень кстати подметил. Молодец! За это и за то, что повесть читал, — отлично! Чуть продолжу... Войну Б. Васильев изображает не только во внешних событиях: грохоте разрывов, трескотне пулеметов... Во внутренних переживаниях героев еще больше. Обрывки воспоминаний то и дело мелькают в сознании Плужникова, создавая контрасты вчерашнего и сегодняшнего, мира и войны. Кто-нибудь подтвердит это текстом романа?

Комментатор. Разумеется, желающих нет: требование непосильное. Вместе с тем этот «кто-нибудь» находится — ученик, который заблаговременно получил индивидуальное задание: показать «войну» во внутренних переживаниях. Опыт говорит: пика творчества урок достигает в момент, когда в стихийную работу класса органично вторгаются по мысли и форме отточенные, заранее подготовленные, такие же динамичные и короткие, как монологи учителя, индивидуальные выступления учащихся. На развитие творческих умений они влияют, пожалуй, еще больше, чем учительское слово. Каждый ощущает потребность в духовном рывке, чтобы соответствовать уровню, который задан одноклассником. Такую потребность (на уроке общения!) испытывает нередко и сам учитель. Существенно важно, чтобы ученики сами создавали урок, чтобы на нем звучали не только их однословные ответы, а продуманные, литературно обработанные и композиционно слитые с рассказом учителя монологи. Владеть уроком в целом, а не отдельными его крупными — на это нацелены индивидуальные сообщения, которых может быть несколько. Но не только до урока, а и на самом уроке, если учим творчеству, полезно давать домашнее индивидуальное задание. Самый момент, когда оно дается, — своеобразное развитие темы. Так, в аналогичном задании кто-то из ребят к очередному уроку («Тема войны в произведениях советской литературы») покажет, как в частных событиях (защита крепости) раскрывается всенародный подвиг, масштаб

гигантской битвы с фашизмом. Однако вернемся к уроку. Послушаем ученика, тем более что он идет к столу. Затем опять дадим слово учителю, который, заметьте, не просто внимательно слушает ответ, а ищет зацепки, чтобы динамично продолжить...

Ученик. Особенность героев Б. Васильева еще и в том, что они...

Учитель. Верно. Но это и особенность многих произведений о войне. Ее герои — недавние и даже вчерашние школьники, то есть молодые люди. Не любопытно ли сделать сравнительный анализ, скажем, образов лейтенантов: Плужникова («В списках не значился»), Артюхова («Лейтенант Артюхов»), Кузнецова («Горячий снег») и т. д.? Есть желающие?

Комментатор. Желающие находятся. Этому, во-первых, способствует деловая атмосфера урока, во-вторых, акцентированная учителем необходимость обрести творческий навык — выходить за рамки конкретного, устанавливая связи с общим, т. е. концентрировать анализ. Кстати, это и есть связь литературы с книгой, книги — со всеми, всех — с одним, всех и одного — с учителем, организовавшим поиск. Стараться увидеть в школьнике все то, что отличает его от других, чем он, собственно, полезен и интересен другим, — ключ к реализации творческого потенциала всего класса и отдельного ученика.

Учитель. Не жертвой — героем выходит Плужников из развалин. И немецкий лейтенант, «щелкнув каблуками, вскинул руку к козырьку», а солдаты «вытянулись и замерли». Это и Плужников, и не он. Разве таким явился он в крепость год назад? Чистеньким, молоденьким, как пушкинский Гринев из «Капитанской дочки». А сейчас и мать не узнает. Седые волосы, худой, ослепший, «уже не имевший возраста». Но не это — не внешний вид важен. «Он был выше славы, выше жизни и выше смерти». Что значат эти строки? Как понять это «выше»? И то, что Плужников плачет: «Из немигающих пристальных глаз неудержимо текли слезы»? Подумаем над тем и другим — над «шагами» в нашей версте...

Ученик. Он бы не выстоял, если бы не поднялся над собой — земным, обыкновенным. Почему плачет? Не внутренними монологами — их просто некогда произносить! — психологическим подтекстом ответил писатель. В Плужникове «плачет» молоденький лейтенант Коля, который хочет жить, видеть солнце, любить.

Ученик. Верно. Можно быть выше жизни, выше славы и выше смерти, но нельзя быть выше самого себя.

Ученик. По-моему, тут и кутузовские слезы. Помните, у Толстого, узнав, что французы покидают Москву, фельдмаршал заплакал. Перед тем как выйти из крепости, Плужников узнает, что немцы разбиты под Москвой. Это — и слезы победы!

Ученик. Конечно. И памяти о тех, с кем Плужников защищал крепость и кого уже нет.

Ученик. Слезы солдата, который сдался врагу, потому что истек кровью.

Учитель. Не сдался, а вышел. Кстати, почему именно в тот момент, когда узнал, что немцы разгромлены под Москвой? «Теперь я могу выйти. Теперь я должен выйти», — говорит он. Как истолковать эти «могу» и «должен»?

Комментатор. Анализировать — это знать, на какую «искру» текста подуть, чтобы был огонь. Здесь большую роль играет вопрос. Торопить ученика с ответом нельзя! Сколько учитель даст ему подумать, настолько он и интересен ученику, а ученик ему. Старайтесь развивать те счастливые мгновения урока, когда ребята дружно затихают или дружно говорят. Значит, то, о чем вы говорите им, и есть самое то. Класс всегда чувствует, для чего разбирается художественное произведение. Если для того, чтобы знать, — мало. Неннтересно и скучно. Если еще и чему-то научиться, над чем-то подумать, к чему-то важному приблизиться — можно не пожалеть сил и времени. Познавательная мысль, таким образом, всегда (!) должна перерасти в обучающую, творческую, а сам урок — в комментарий умения вести за собой. Но... слушаем тех нескольких, которые жаждут высказаться.

Ученик. Он не «подждал» своих. Он помогал им вернуться. А когда наши двинулись к Бресту, он уже «может» выйти. И — должен! Чтобы фашисты, увидев его, поняли, кто их разгромил под Москвой. Такие, как Плужников...

Ученик. Под Брестом он дрался за Москву, как Андрей Болконский у стен Москвы — за Смоленск.

Учитель. Согласен. И подмечено хорошо, и сказано верно! Но одно слово лишнее. Да «у стен» убрать. Фраза должна пружинить. Вот как эта. Запишем под диктовку. «Геройство не всегда рождается отвагой, какой-то исключительной храбростью. Чаще — суровой не-

обходимостью, сознанием долга, голосом совести. «Надо, — значит, надо!» — логика тех, для кого подвиг — до конца выполненный долг».

Комментатор. Еще эффективнее прием работает, если высказывание принадлежит ученику. Иногда это отрывок из сочинения, органично включенного в урок, с указанием имени и фамилии ученика, парты, где он сидел, даже некоторых черт характера, судьбы и т. д. Цитаты из сочинений, как и слитые с ними высказывания учителя, ни в коей мере не иллюстрация только комплекса умений, а логическое развитие урока в обучающей манере. Образуется своего рода целостный, законченный «блок» учительского и ученического творчества. И это очень важно — как наглядный пример, убеждающий, что всякий (если постарается) может дорасти до учителя, а в чем-то даже его и превзойти. Очередной этап урока, будьте внимательны, выполните именно эту функцию.

Учитель. Память. Ты оставила нам на размышление вечность. Никто из них не хотел умирать. Теряя товарищей, друзей, любимых, шли наши соотечественники в серых шинелях огненными дорогами войны в свое бессмертие. Помнить о них — это выбрать в жизни и свою трудную дорогу, свою «версту» и, как они, не свернуть с нее. Подумаем же всерьез над нашими дорогами...

«В комнате моей бабушки висит портрет ее мужа, отца матери, моего деда. Молоденький лейтенант! Ну, совсем, как Плужников. 9 Мая мы украшаем портрет цветами. Бабушка плачет. Никто не знает, где приютила земля нашего деда. Часто перечитываю два сложенных треугольничком письма, которые он прислал с фронта. Всего лишь два. Но сколько личной, своей тревоги за наши «версты» в неровных, торопливых строчках! Жить для себя, если они умирали за нас, — подло и гадко. Пусть Совесть проверит нашу Память, научит и заставит нас жить на Высоте безымянных высот...» — так писала одна из моих бывших учениц.

Комментатор. Просты и искренни эти слова, не так ли? Оттого и тихо в классе. Оттого и не совсем верны строчки поэта: «Не потому ли я живу, что умерли они?» Нет, они погибли, но не умерли, ибо остаются с нами в недописанных строчках фронтовых писем... Снова монолог учителя — в интонации как бы заданной ученицей, а в общем, им самим, поскольку фрагмент сочинения органично развивает тему.

Учитель. Сколько шагов в русской версте? Теперь

это знают фашистские генералы и здесь, под Брестом, и там, под Москвой, а скоро узнают и под Сталинградом, Курском... Но вернемся к роману. Плужникову приказывают назвать свое имя и звание. «Я русский солдат», — ответил он. Тут всё: и фамилия, и звание. Пусть он не значился в списках. Так ли уж важно, где и с кем защищал он Родину. Главное — жил и умер ее солдатом, оетановив врага на русской версте...

Ученик. А я бы иначе сказал: на своей версте!

Учитель. Согласен. Так и скажем: на своей версте. Но скажем и о другом. **Заступник, воин, солдат...** Весомые слова в нашей литературе, синонимичные собирательному патриот. Полистаем вновь «Войну и мир»; к этому есть повод. Как и Плужников, князь Андрей — солдат. Еще и поэтому отказывается он от завидной должности при штабе Кутузова. Как и Плужников, пережил он чувство отрешенности от самого себя, свое гордо-бесстрашное «выше», когда не захотел спрятаться от дымящейся возле его ног гранаты. А разве Андрей Соколов («Судьба человека») вслед за Болконским и Плужниковым не поднимается до своего безмерно высокого «выше»? И герои В. Быкова, Ю. Бондарева, А. Калинина?.. В этом контексте хочется прочитать знакомую всем строчку Пушкина: «Вознесся выше он главою непокорной...» и как памятник солдату! Он может быть и великим поэтом, и обыкновенным лейтенантом, шахтером, подобным Сергею Петрову («Всем смертям назло»), лесорубом Женей Столетовым («И это все о нем»), школьным учителем («Обелиск») или совсем еще юной бортпроводницей... Да мало ли в книгах и в жизни примеров, когда, думая о судьбах Родины, человек возвышался над собственной, нередко трагической судьбой. Короткой, но долгой. Выбрать свою «версту» и не отступить ни на шаг — это и значит жить верстами Родины! Ее историей, тревогами, заботами. Пусть каждый станет солдатом своей версты! Ну а если без метафор — своего дела, порой незаметного, но нужного, коль вливается оно в общий труд Родины...

Комментатор. Быть услышанным — об этом мечтают даже те из нас, кто щедро обласкан вниманием школьников. И не удивительно. Черточка, что соединяет учебное и воспитательное в практике многих учителей-словесников, такая же тусклая и бледная, как татуировка на руке шолоховского Давыдова. Уроку литературы жизненно необходимы публицистические проповеди, при-

звы, разговоры с одним и со всеми, где бы не в преломлениях этого, того, сего с этим, а напрямую шел бы нравственный диалог о неотложном, жгуче-насушном. Стой! остановись! задумайся! взгляни на себя и вокруг! и ты, и он, и все! «Педагогикой разумений» называю я эти ключевые моменты общения с учеником. Но, безусловно, нужна и обширная учебная информация, без которой невозможно отстоять свою нравственную правоту.

Всякий, а тем более этот урок не может закончиться просто так. Задание — обязательно. Творческое. Не дать задания, по сути, лишить урок самого главного — резонанса, а учащихся — потребности еще хоть немного пожить уроком. Однако мудрее продолжить, чем повторить. Когда задание сулит открытия, спорные решения, волнует новизной, «выгодно» и радостно напрягать свой ум. На уроке не была объявлена тема. Случайность? Отнюдь нет. Каждый попробует дома по-своему назвать урок. Перебрать по частям и в целом все, о чем говорили, найти главное, ведущее. Объяснить, почему так, а не иначе, этой, а не той фразой выражена суть урока. Тема, которая не «звучит», не может быть интересной, как бы она ни была серьезна, значительна по замыслу. Удобнее сделать это в небольшом сочинении-миниатюре: 30—40 названий одному и тому же уроку — 30—40 трактовок, почему так, а не иначе. Это ли не творчество! Всё с тех же позиций: учить литературе и по законам искусства!

* * *

Читатель! Ты был не просто на школьном уроке, ты был на уроке школы. Не все подробности отражены в той «фотографии», с которой познакомил. Многие оказались неподвластно жеру. Но суть не в этом. Новый урок стал для меня своеобразной матрицей в серии подобных ему. Привычные для меня «увязки» (нравственные, житейские, грамматические и т. д.) ныне пополнились педагогическими. Не только писателя, литературного героя — себя комментирую! Считаю «шаги» и в своей педагогической версте, которую пройти надо вместе с ребятами. Секреты учителя — ученику! Так бы я определил эту новую и наиважнейшую для меня грань общения с ребятами, теперь уже со всеми, а не только с «педагогическими».

ПО СТРАНИЦАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО БЛОКНОТА

Загадочна и непредсказуема память. Порой сил не жалеешь, чтобы ученик запомнил именно это, то, а не другое. Но почему-то запоминается «другое», а «то» и «это» отходят на второй план.

Мои юных коллег, оказывается, заинтриговала (по этой причине, видимо, и запомнилась) вскользь оброненная фраза: «При случае как-нибудь расскажу о дневниках Толстого, записных книжках Маяковского, о своих блокнотах». Прошли недели, месяцы. И вот неожиданная просьба: расскажите о блокнотах! Признаться, я уже и забыл о своем обещании. Всерьез, возможно, и не думал о них: просто хотелось акцентировать роль пишущей руки в развитии памяти. Но уклончиво-обтекаемое «при случае», «как-нибудь» подспудно тревожило ребят.

— Что ж, расскажу о дневниках Толстого, записных книжках Маяковского...

— О своих блокнотах! — не унимался класс.

В тот день кое-что важное понял. Во-первых, нельзя интриговать обещаниями, а после забывать в лукавой надежде, что раньше тебя о них забудут ребята; во-вторых, ищущий да еще к тому же и пишущий учитель для ребят чем-то интереснее (ближе) самого Толстого, Маяковского.

...На этот урок я шел не с томами академических изданий, а с потрепанными и неказистыми от времени блокнотами. Впопыхах нередко записывал вместе с телефонами, адресами знакомых, перечнем домашних покупок... и то заветное, школьное, что вечно держало под напряжением и — страхом: потерять блокнот. Всё читать, кое-что? Решил: всё, что имеет отношение ко мне как учителю. Пусть это будет урок педагогического дневника или блокнота. Писать и то и другое — это уметь записывать себя в оптимальные минуты своего «я». Иной раз чуть не полдня «держишь» фразу, сказанную кому-то мимоходом, но не записанную по техническим причинам: не было под рукой карандаша. Я за дневники, которые пишутся урывками, словами, что пришли сразу. Как у Маяковского: «И в год не выдумать лучших фраз, чем сказанная сразу». Вот почему не толстенная тетрадь в солидном переплете и не модная шариковая ручка со всеми цветами пасты, а простенький блокнот и безотказный огрызок карандаша мои главные орудия производства. Нужны не страницы (учителю их некогда пи-

сать), а мысли, мысли, способные когда-нибудь стать страницами. Хотелось научить ребят искусству поистине рабочего и работающего дневника. Но пусть это будет не просто разговор и не чтение с комментариями, а по всем правилам урок. Значит, нужна тема. Кто-то предложил. «Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Нет, мои скромные заметки требовали непритязательного заголовка. «Думы мои, думы...» — шепнул самому себе, вспомнив строчки Т. Шевченко. А может, «Из записок учителя-словесника»? Высокопарно. «По страницам блокнота»?.. Вот это и есть то, что надо. Уточним: педагогического. И... начался урок: разрозненных, но связанных одной темой «наблюдений», «замет», «дум». Для краткости опускаю комментарии и знакомлю читателя лишь с раздумьями. Одновременно они будут и послесловием к книге, ибо в них собран «нектар» многих уроков, изложены принципы, на которых выстраивалась сама эта книга, как, впрочем, и вся моя работа в школе. Особо важные мысли отмечал по полях блокнота восклицательными знаками. Иногда двумя-тремя. Были и вопросительные. Какие знаки, читатель, расставишь ты своей рукой на полях учительской жизни?!

«Приобщить школьника к высокой духовной культуре, конечно, заманчиво. Чтобы, как Надя Рушева, знал он греческую мифологию, Шекспира, Булгакова... Живопись и музыку. Скульптуру, архитектуру. Словом, многое, а для 17 лет — почти всё. Но тогда по утрам пусть кто-нибудь зашнуровывает ему ботинки, потому что резкие утренние движения при такой загруженности головы чреватые бедой...»

«Многое сделать на самом уроке и кое-что не успеть... «Кое-что» и есть загадочная жизнь урока вовнеклассных, внешкольных, домашних делах».

«Уроки, которые ребята дорабатывают дома, оплачиваться не должны: как несостоявшиеся».

«Двойка» — сплошная психология! Думать-то надо не о том, кому и за что, а зачем ставишь ее. Всякий в этом смысле отстающий учитель во сто крат непригляднее отстающего ученика».

«Как сапоги или костюм, отметка может быть и на вырост».

«На уроке ученик в основном сидит, а ведь должен идти. Значит, нужен путь. Интересный — всем и каждому».

«Любой урок, претендующий на то, чтобы состояться, — инициатива обеих сторон. Подумаем над «равнодействующей» каждого урока».

«Фонетическая и душевная активность школьника не всегда совпадают. Когда-нибудь пойдем это и научимся если не оценивать, то ценить молчание».

«Всюду приемы: в самбо, футболе, хоккее... А на уроке — ни одного педагогического. Поневоле заскучаешь».

«Плохих, инертных учеников, если работать с ними изобретательно, с выдумкой, нет и быть не может».

«— В чем ваш главный успех? — спрашивают иногда. Своей практикой я доказал, что каждый ученик интересен и хочет учиться».

«Включить ученика в урок — это все устроить таким образом, чтобы тот на время забыл, что это урок и он на уроке».

«С классом работаю, точно с книгой: ищу яркого ученика, как в тексте яркую деталь. От него и с ним, подключая остальных, делаю урок».

«Юных так же полезно тревожить, как и успокаивать. Порох души — наш взрывчатый материал, и отнюдь не всегда он должен быть сухим. В литературе есть ответ и на то, как порох делать мокрым».

«Любая инициатива стоит внимания. Ребячья — самого пристального. Школьник не готовит уроки?.. Инициатива! И ее надо исследовать. Нет таких, чтобы ничего не делали! Не занят уроками, значит, чем-то другим. Как «другое» связать с уроком, уроком и вытеснить, если оно нежелательно?»

«Не для бумажной «галочки», а для живой и белокурой, что сидит в среднем ряду и не слишком вникает в сложности своей и общей жизни, — вот для кого работаем».

«Учитель ограничен, а нередко и бесплоден в своих возможностях, если связь с классом не выразилась ни точками, соединяющими его с каждым в отдельности».

«Ученик знает о себе больше, чем мы о нем. Наша задача — уроком (!) доказать ему это, т. е. помочь управлять самим собою без нашей помощи».

«Что значит по-человечески относиться к ученику? Признать его слабости и вместе с ним, но незаметно для него, одолевать их. «Этапами», «эволюциями», «портретами» самих ребят заниматься с такой же глубиной и охотой, как и судьбами литературных героев. Вот вам и общий язык, т. е. понимание внутренней, скрытой жизни

ученика, которую нельзя упрощать и на самую малость. Зная это, словесник знает намного больше того, с чем пришел к ребятам».

«Дистанция между учителем и учеником нужна. Но это не стена, которую нельзя перешагнуть, а ступенька, на которую ребята должны подняться и на которую сами подняли нас. Иначе могут и опустить».

«Да, учитель обязан всю жизнь учиться. Но прежде — чему? Умению смотреть на себя глазами ребят именно в тот момент, когда они действительно на тебя смотрят».

«По молодости волновало, что я даю ребятам; теперь — что они дают мне. Когда дают они, а не я, знают, и берут больше — и сами по себе, и через меня».

«Внимание — наипервейшая человеческая потребность. В любом классе есть ребята, остро нуждающиеся в слове, которое врачует, а не только учит».

«Сами школьники дают нам в руки новый принцип организации учебной работы: общение, т. е. приобщение к своему духовному «я» другого человека и приобщение себя самого к его внутреннему миру. Обе стороны интересны и понимают, что интересно. Ну а коль этого нет? Тогда и сами ребята неинтересны друг другу, и учитель, чем он интереснее, тем дальше от них, а они от него и друг от друга».

«Если книга, по словам А. И. Герцена, «духовное завещание одного поколения другому», то не усложнять, а упрощать надо и без того тернистые пути к ней. Особенно сейчас, когда охотнее «читают» телевизор».

«Любопытно иной раз заглянуть в разбухшие тюки, в которых к фургончику или поутру в школу несут ребята так называемую макулатуру. Среди вороха брошюр, журналов увидишь нередко и «разрозненного» Тургенева, и вполне «приличного» Достоевского, которые могли бы еще долго служить. Если книга — объект изучения, а не средство помощи, ценится обложка, соответствующая ультрамодному стеллажу».

«Литература для иного словесника вроде как «искусство для искусства»: всё только на основе книги! Жизнь же — самая сложная и важная часть духовной работы — отдана ученику на стихийное осмысление. Вот и воспитай гармоничного человека, если отсутствует главная опора».

«Легко превратить книгу в ненужное занятие: знать для нескольких минут экзамена и полвечер убедить себя

и других, будто она нужна на всю жизнь. Для какого «экзамена» работать — вопрос отнюдь не праздный, не риторический».

«В поэзии нужна страсть... и непременно указующий перст, страстно поднятый», — писал Ф. М. Достоевский. Не наполнить ли и урок литературы той же поэзией: страстной, указующей?»

«— Что вас позвало на этот урок?»

— Потребность раскрыть одно очень важное тире. «Павел — не плакал», — пишет Горький о сыне, который хоронит отца («Мать»).

— И всё?

— Этого «тире» хватит на целый урок и даже на два». «Часто слышу: главное — учить, воспитание будет! Оно, доскать, вытекает из той информации, которую даем. Вот беда: даем-то все больше, а вытекает все меньше. Не таким уж оптимистическим выглядит на деле это наше самоуверенное «будет». Образовывать легче, чем воспитывать; связывать то и другое труднее, а делать в этой связи чуть опережающим воспитательное, не ослабив самой связи, и вовсе искусство».

«Педагогика разумений» не лобовая атака, не занудливый дидактизм. Это тончайший прием сближения книги и жизни; поиск наилучших точек соприкосновения опыта литературного героя и ученика; вера в духовный и творческий потенциал школьника; особое искусство комплексного обучения и воспитания; попытка «насушным» пробудить интерес и внимание к себе самому и в конечном счете к ценностям культуры, способной ответить на все, что волнует».

«Не только между уроками и после, но и на самом уроке должны быть «переменки», где есть место шутке, дружеской беседе, поучительному разговору и т. д. Когда учитель интересен в уроке, в переменках на уроке и в переменках после урока, он и есть Учитель».

«Методика не наука о том, как надо, а искусство, убеждающее, как быть ярким и... рациональным».

«Урок провалился, но учитель состоялся — в нашем деле бывает и такое».

«Всё — педагогический инструмент. Не действует один, ищите другой. Самый непроизводительный тот, который взят напрокат».

«Уроки, о которых ребята не подозревают, т. е. зараженные не готовятся к ним, имеют особый смысл: поупраж-

няться в скорости мышления, динамизме общения, в угадывании себя и учителя. Они соответствуют стилю сегодняшней жизни, где многие духовные операции приходится выполнять без подготовки».

«— Ученики охотно идут на урок, но — к вам, а не к Чехову. А надо, чтоб к Чехову! — упрекнули однажды. Конечно, надо. Но пусть сначала придут ко мне, а к Чехову пойдем вместе».

«Возвысить и обидеть, сблизить и разобщить, увлечь и оттолкнуть — всё, всё можно литературой!»

«Надо быть и требовательным, и душевным. «Середина нужна», — говорят мне. Верно: надо! нужна! Но чтобы быть и тем и другим, это уже не середина, а вершина. В педагогике вершины легко не берутся».

«Настоящий учитель тот, от которого умнеют, облагораживаются, а не тот, у которого просто чему-то учатся, что-то узнают».

«Родителей не выбирают — аксиома известная. А учителя? Не решит ли школа будущего эту насущнейшую из проблем? Ведь ребята часто завидуют друг другу, потому что разные у них учителя: у кого-то хороший, настоящий, а у другого... Не дать ли «другому» право выбрать «хорошего» и усилиями собственной воли воспитывать себя?»

«Творческая манера — результат умения обрести свой путь и свое мастерство на фундаменте собственной личности».

«Нелегкая, порой и горькая участь мужчины-педагога, когда он не за ученым или административным, а за обычным учительским столом с завидным упорством и верой в свое, обретенное, проверенное утверждает себя как творческую личность. Без личности! творчества! собственного пути! мужчина в школе — явление жалкое. Но сколько неучтенных способов обидеть его, когда он не в одной упряжке со всеми, хотя вместе с ними и к одной цели только по-своему и своим путем идет».

«Всякий, кто когда-то работал в школе и вдруг оставил ее — «перерос»-де, мол, — лукавит. Школу нельзя перерастать. Она не просто работа — образ жизни. Тот мир, где важную посредственность разгадают не за месяцы, а буквально в минуту. Учительский день длиннее всякого другого. А сделать надо больше, чем другим. И чтоб родные, близкие за неудачника не сочли. Просто так школа никого не держит: она или привязывает, или выбрасывает. Ушедший из нее — так или иначе выброшенный».

«Вдохновение не должно покидать нас, оно запрограммировано высокой, если хотите, утилитарной целью. Сегодня ребята в классе, а завтра будут продавцами, врачами, парикмахерами... Какими станут — от этого и моя, и ваша жизнь зависит. И общества в целом».

«Можно любить свою географию, физику и быть равнодушным, предположим, к химии, иностранному... Но если ты равнодушен к литературе, будучи физиком или географом, то, как бы ни любил свой предмет и как бы хорошо ни преподавал его, ты лишь наполовину учитель. Парадокс? Нет, своеобразие школы! Литературно образованные географы, физики, химики... — это те, кому открыт воспитательный потенциал своего предмета».

«Думая только об уроке, учитель проваливает школу. И наоборот. Не отсюда ли в практике многих — ни урока, ни школы, лишь половинки того и другого. А ведь нужно — целое. Каждый в этом смысле хоть немного должен быть директором школы».

«Неправда, будто я противопоставляю себя «иному опыту». Рутинному, мертворожденному, где ни «урока», ни «литературы», ни тем более «урока литературы» — да, всякому иному — нет! Зато очень часто и весьма охотно противопоставляют мне меня самого».

«Согласен с чьим-то высказыванием о том, что личность — «энергия, соединенная с высоким чувством личного достоинства». Ох, уж это капризное достоинство! Не защитишь его — и погаснет «энергия». А без нее в мире самых энергичных, имею в виду ребят, нам и делать нечего».

«На открытом уроке, где были и студенты-практиканты, я дал классу необычную тему домашнего сочинения по пьесе «На дне»: «Кому из обитателей ночлежки я (!) наиболее (!!) сочувствую (!!!)». Раскрыл шесть восклицательных знаков — вот и вся работа. Это было игровое, но в то же время и очень серьезное задание. А после, обращаясь к ребятам, спросил: «Как вы думаете: кому из героев сочувствую я?» Раньше всех отреагировала... учительница литературы, сидевшая сбоку. «Никому!» — шепнула она студентам. Иногда и такими «средствами» утверждают себя в школе».

«Не делал радиопередач с чужими учениками, а имел своих и выступал с ними. Не кружил задиристым кочетом вокруг школы, решая проблемы урока, а каждый день переступал ее порог и шел к своему горькому учительскому столу. Не высасывал теоретических проблем

из табачной трубки, а извлекал их из живого, реального опыта — своего. Не вспоминал с ущемленным самолюбием, дескать, были когда-то и мы «русаками», а по сей день и вот уже 30 лет остаюсь таковым».

«Ждал: вот-вот будет свободная минутка. Оглянусь на прожитое, пройденное. Пойму «секреты», скажу о них системой. Но всё в пути и в пути. В работе и в работе. Она тем ужасна, что никогда не бывает сделана. Всю жизнь готовишься и не готов. Рассчитываешь на следующие 45 минут и не замечаешь, как уходят годы. Но я счастлив, что всегда жил и живу среди ребят, вместе с ними и для них».

«Кое-кто не без иронии скажет, держа в руках эту книгу: пускай, мол, другие «рожают», а мы и в бесплодии проживем и даже преуспеем. Прожить можно. Пожалуй, и преуспеть, а вот родиться самому как учителю едва ли».

«Воспитательную миссию словесника считал и считаю наиважнейшей, а необходимость строить преподавание литературы на более широкой и гибкой основе, чем все остальные дисциплины, насущнейшей и общегосударственной задачей».

СОДЕРЖАНИЕ

Войди неторопливо, суди строго (вместо предисловия)
3

«Душа обязана трудиться...»
4

Что оставлять за порогом?
7

«Души прекрасные порывы...»
13

Письмо к матери
18

Звучание паузы
20

Корни нашей жизни
23

Соавторство
27

Что увидели с мостика
31

И шаги и слова...
34

Введение в книгу
38

«Андрюша-то... в гору пошел!»
43

Наш ответ
47

«Общая тетрадь» урока
53

Тополя, тополя...
56

В кого вырастать?
58

Найти главное
62

Нерешенные проблемы
66

Увязка разрывом
69

Обретение себя
73

Тебе созвучный, тебя зовущий
76

Необходимая сноска
78

Свои странички
83

Сейчас или потом?
88

Перешагнем барьер
92

Когда великие рядом
93

Желайте страстно, предполагайте доброе
97

Дойти до адресата
102

Не пройденная тема
106

Не заметили — увидели
108

Невзятые высоты
112

Нет, я не ошибся...
115

Включите телевизор
117

Кому задавать вопросы?
125

Урок газеты
129

Список «своих» книг
132

Главный принцип
135

В сумерках зимнего вечера
139

Телефонное убийство
144

Запас высоты
149

Комментирую себя
153

Образная задача
158

По страницам педагогического блокнота
167

Евгений Николаевич Ильин

Рождение урока

Зав. редакцией
Л. И. Коровкина
Редактор
И. Н. Баженова
Художник
Б. А. Шляпугин
Художественный редактор
Е. В. Гаврилин
Технический редактор
О. В. Журкина
Корректор
В. Н. Рейбекель

НБ № 974

Сдано в набор 08.07.85. Подписано в печать
14.01.86. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2.
Печать высокая. Гарнитура литературная.
Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,97. Усл. кр.-отт.
9,46. Тираж 100 000 экз. Зак. № 256. Цена
35 коп.

Издательство «Педагогика» Академии педаго-
гических наук СССР и Государственного ко-
митета СССР по делам издательства, полигра-
фии и книжной торговли.

Москва, 107847, Лефортовский пер., 8

Владимирская типография Союзполиграфпро-
ма при Государственном комитете СССР по
делам издательства, полиграфии и книжной
торговли

600000, г. Владимир, Октябрьский просп., д. 7

НБ ПНУС



501457